ПРОРОК

Павел Мейлахс

1.УТРО

Яичница на сковородке трещала, стреляла, лопалась, взрывалась. Она вскипела шипением и треском напоследок, при отделении от сковороды, но плюхнулась в тарелку, затрепетала и стихла.

Два яйца в яичнице были двойни. Было четыре маленьких желточка и один большой.

Он бродил по обширной светлой кухне. Белел кухонный шкаф, тумбочка, еще что-то кухонное (пенал?), еще что-то кухонное и еще что-то кухонное. Там, в белом, в кухонном хранилось много посуды и приспособлений для еды, терки, молки, выжималки. Это все подарили ему любящие поклонницы. Они очень ему сочувствовали, глубоко понимали, каково ему тут одному, и надарили ему все это. Он и не знал, чтó в этом белом, кухонном. Вот уже двадцать лет все у него лежало на старой полочке (тоже, правда, белой). Перед тем, как дожарилась яичница, он бродил по кухне. В белом медленно появлялись его смутные отражения, по которым было невозможно восстановить человека. Появлялись они не сразу, а неохотно, постепенно проступали, даже когда он стоял на одном месте. Отражения были недовольны, что их потревожили. Он двигался, и отражения так же медленно и неохотно пропадали с гладких, белых, блестящих поверхностей, медленно, как исчезает с таких поверхностей надышанное пятно пара. Над раковиной холодно, нержавеюще блестели тоже какие-то кухонные приспособления. Висели стамески, долота, сверла, дрели, плоскогубцы для еды. Хуже: скальпели, катетеры, секаторы… Иногда он хмуро смотрел на них, они в ответ смотрели на него так же. Они были тоже, естественно, подарены и непонятно для чего нужны. В недрах квартиры

стояли дареные шкафы с чем-то дареным в них. С чем, понятно, неизвестно.

Это был, как говорили, спятивший подводник. Может быть, врали. Говорили, что однажды он чуть не утонул в своей подводной лодке. Этот подводник часто наведывался в туалет и прислушивался, наклонив голову, как журчит в унитазах вода. Туалет в таких заведениях на всякий случай незакрывающийся. И подводник то и дело торчал там. С наклоненной, очень внимательно прислушивающейся головой. Что-то такое он слышал в журчании воды лишь ему одному ведомое. Лицо его было совершенно бесстрастно. Какие-то оттенки, оттеночки журчания, которые он изучил, как никто. Но все ему было мало, все еще он что-то недопонял самое последнее. Все, что есть в мире — это журчащая вода; в этом — истина, с каких-то пор открывшаяся ему. Но еще оставалось много чего такого в журчащей воде, что было ему пока неведомо; что ж, он постигал, постигал, неуклонно приближаясь к истине. Хорошо, что он пожизненно очутился в этом месте, ничто постороннее не отвлекало…

Он с трудом глотал сытную яичницу. Водил круговыми движениями хлебной коркой по дну тарелки, вымакивая растекшийся, застывающий желток. Жуя последний пропитанный хлебный комок, увидел в окно, что солнце ненадолго вышло. Крыша дома напротив озарилась. Ему захотелось согреть, подрумянить замерзшие руки над этой крышей.

В квартире холодно. Термометр застыл на +13.

Как неохота идти в контору.

Я кажусь себе циркачом, разрывающим цепи. И с каждым днем, с каждым разом кажется, что не разорвать. Но нет, разорвал пока. Живи до следующего раза. А вот сейчас точно не разорву. Но нет. Разорвал. Живи пока. Живу я *пока*. А дальше? Цепь все та же, но я слабее. Вот так когда-нибудь и не разорву.

Висишь над пропастью и чувствуешь, что силы кончаются в руках, когда-то они кончатся, а спрыгнуть нельзя, а залезть невозможно.

Он смотрел на окна противоположного дома. На подоконниках там стояли больничные цветы в горшках. Иногда там появлялись женщины в белых халатах. Медсестры, уборщицы. Он представил, как там сейчас скрипит по линолеуму тряпка на швабре. Дребезжит и скребет с визгом по полу случайно задетое ведро с грязной водой, в ведре заходили ходуном волны, одна не удержалась в его границах и хлынула через борт на пол. Размашистая водяная клякса на полу. Да-а-а чтоб тебя! Он прекрасно знал, что происходит сейчас в доме напротив, ему не нужно было заглядывать внутрь. Он знал, что за столиком в только что вымытом, блестящем и даже немножко отражающем своим линолеумным полом коридоре, трое играют в дурака. Он может пойти туда, сказаться больным, и подсесть играть в дурака четвертым. Можно будет пара на пару. А кто будет его партнером? Олег Иванович с седыми боцманскими усами, с белыми куриными волосами на груди? Или с тем худым, больным парнем, которого зовут не то Витек, не то Санек (именно имени этого второго он точно не знал, а так он знал о них все)? Витек (Санек) излежался по больницам, в разных городах, в разных странах, имеет богатейший опыт. Но болезнь все грызет его изнутри, и, похоже, плохо дело… Но замашки бывшего франта и сердцееда еще немножко остались. Он говорит, кривя рот, как человек, знающий подлинную цену вещам. История его жизни — это история болезни какой-то кишки в нем, которую и не вырезать, и не залечить. Вдруг Витек кому-то в зале для телевизора: Во! Сделай погромче! Эту тему мы с ней напоследок слушали. Я тогда в армию уходил, на следующий день. Всю ночь они танцевали под нее. Тема поражает своей бледностью, банальностью, безвкусицей, бездарностью… Жаль, что ничего лучшего тогда не нашлось. Он бы так его понял, так бы ему посочувствовал! Но кого еще можно выбрать в качестве своего партнера? Остался один — серьезный Анатолий. Может, с ним? У него свитер черное с красным. Анатолий все знает. Как была проведена китайская земельная реформа, как вязать морские узлы, как была основана Иордания, как лучше всего заваривать чай, какую квартиру и в каком районе города лучше покупать. Хорошо играет в

преферанс. И в дурака, естественно. Не лечат, а калечат, говорит, вздыхая, Олег Иванович, роняя козырную шестерку.

Хорошо в больнице.

Ноги стыли на резиновом полу. Он подумывал о том, чтобы надеть шерстяные носки. На полу в правильном порядке были изображены холодные, абстрактные цветы с множеством углов. Он поставил тарелку из-под яичницы в раковину, залил ее водой, вытер руки. Посудное звяканье.

Парк культуры и отдыха. Лето. Сад. Вечер. Закат. Пыль. Духовой оркестр. И, вслушавшись в духовой оркестр, он вдруг ясно понял, что за свободу можно платить только смертью, по-другому не бывает. Свобода или смерть. Точнее, свобода и смерть. Он выбрал свободу, но до чего же не хочется умирать! Он стоял и впитывал в себя и этот закат, и этот оркестр, и эту летнюю пыль, впитывал, как только мог, как будто умирать нужно было прямо завтра. Какие-то слезы подступали изнутри. Какая-то тягучая ностальгия.

свесившийся букет алых цветов на рояле   дорожка, усыпанная кленовыми листьями   силуэт гениального негра, который знает главное   негр погружен в вековую дрему, как гора, проступающая из морской мглы   все, пора и вставать   пора и честь знать

все вдруг встали, посерьезнев

Жаль. Жаль.

Солнце почти уже село. Парк остыл, притих. Появился, а может, просто стал ощущаться ветер, стало зябко. Почти нет людей. Он стоял и смотрел на темные листья и сглатывал комки один за другим. Много еще листьев, на него хватит.

После еды надо было пить кофе. Это займет десять минут. Он насыпал в чашку много растворимого кофе и плеснул туда кипятка. Потом размешивал. Он чувствовал, что согреться снаружи невозможно, но можно немножечко согреться изнутри этим шаманским зельем, которое, как известно, пьют для согрева народы крайнего севера. Он пил без молока и без сахара, чтоб было горько, едко, почти больно.

С дымящейся чашкой он шагнул в темный проем, отделявший кухню от квартиры, и, после того как некоторое время он шел в полумраке, он оказался в своей комнате. В своей, единственной. Число комнат в его квартире росло по мере того, как он жил, но эта комната было у него всегда. Это была е г о комната. А сколько комнат в остальной квартире он даже не знал.

В его комнате к обоям была приколота булавкой его детская фотография. Ему лет десять. Наверно, еще родители ее повесили, а он так и забыл ее на стене.

Ради этого утреннего кофе он и вставал каждый день. Это м о и десять минут. М о и . Нет меня сейчас, нет! Ни для кого!

Как только вошел в комнату, машинально посмотрел на телефон. Никого нет. Когда я поднимаю трубку, там уже заранее короткие гудки. Всегда. Но мне ведь, вроде, никто и не нужен? Не нужен. А откуда тогда это нытье?

по лобовому стеклу струи, струи, русла, русла, все новые и новые. И дрожащие капли, недостижимые для расчистки. Иногда редкие расплывшиеся огни в дожде. Водитель начал крутить свою шарманку на двери, и дверное стекло поехало вниз. Сразу обдало запахом леса при дожде, и звуков стало больше. И даже не то что больше, они посвежели, по ним как будто прошлись влажной тряпкой, и вместо тусклых пыльных звуков стали новенькие, блестящие. Звук шин особенно запомнился ему, и еще мгновенно налетающий и так же мгновенно смолкающий рев встречных машин. И на него нахлынуло такое блаженство, что вся «борьба», вся «сила», вся «воля» показались ему чепухой, микроскопической чепухой; ради этого леса, дождя, запаха и звука и стоит жить, уйти навсегда расстаться

Он медленно прихлебывал это едкое, горькое, черное. Кофе проходил внутрь и слегка пригревал потроха. Совершенно не возбуждало, не бодрило, наоборот, он весь как-то туманился, сникал.

Зазвонил телефон. Он окаменел от ярости. Потом резко встал. Прервали посреди кофепития. Нет им прощения. Тихо, глухо, чтобы не заорать, он сказал: але.

Ошиблись номером. В последнее время ошибаться номером стали все чаще. Полузнакомые голоса спрашивали о полузнакомых, давно ушедших именах. В этот раз спросили ту, которая походила на ту даму, которая продавала черешню там, где они когда-то были с матерью в доме отдыха. Он вспомнил плоское веснушчатое лицо той дамы, дававшей им черешню, ее заплывшие женские бицепсы, пыльные загорелые ноги из-под зеленого в горошек сарафана. Он, разумеется, понятия не имел, где она сейчас.

Он стоял, тупо держа в руках трубку, настойчиво подающую короткие позывные. Потом, вздохнув, положил трубку назад.

Но не успел он как следует устроиться, как телефон зазвонил еще раз. Он некоторое время помедлил, давая тому последнюю возможность одуматься. Потом снял тапок, прицелился и что есть силы метнул его в телефон, рассчитывая, что тот отъедет за край стола и упадет. Так и произошло. Телефон грохнулся с мерзким дребезгом, смолк.

А если это по делу? Но у него нет никаких дел, кроме конторы, а из нее позвонить не могли, потому что все знали, какая страшная кара ожидает их, если они осмелятся потревожить его утром; он был их Страшный Начальник.

Поклонницы принесут новый телефон.

Какого хрена звонить, я не понимаю. Я вот никому не звоню. Только по делу. А так вот просто взять да позвонить… не понимаю я этих людей. Вот что значит делать не хрен. Идиоты.

Бабушка, а как звали твоего первого мужа?

Алешка.

Он закурил еще одну, пытаясь нахально, искусственно затянуть процесс кофепития. Как последняя перед петлей.

Но тут ему пришло на помощь Первое Утреннее Видение.

Было прохладно. Он чувствовал ночной летний холод. Он стоял на холме. Было темно. Но вдали он увидел город; город был хорошо освещаем солнцем из прогалины среди ночного неба. Белые купола светились, православные золотые кресты горели. Город был обнесен

белой стеной, он был совершенно отдельным, не далеко и не близко. Он чувствовал себя завоевателем, взошедшим со своей дружиной на холм; он должен завоевать этот город, но у него вдруг пресеклось дыхание, он забыл и про дружину, и про завоевание, и про себя. Минуту он стоял так. Город светился где-то там. И он бросился лицом в холодную ночную траву, в росу, и пот зашипел на лбу…

Кофе кончился, и одновременно сигарета. Он тыкал и тыкал хабарик мордой в пепельницу, приговаривая: сдохни, гад! Сдохни, гад! Сдохни, гад! У хабарика сломана шея, и он уже больше не дымится, но он все равно еще несколько раз ткнул, разорвав, размахрив его на конце.

Он стоял перед раковиной, перед зеркалом и брился. Второй раз за день он увидел себя в зеркале, и опять потянуло гниловатым холодом из погреба. Он брился и видел себя, бессмысленно мигающего, жмурящегося, видел свое дергающееся лицо.

Под носом он обнаружил гитлеровский прыщ. Он косо прижал ладонь к лысине, желая получить гитлеровскую челку. Он и так бледен, теперь надо сделать лицо еще более больным, мертвым. Получилось немножко похоже. Почему нет медицинского термина «лицо фюрера»? есть же гиппократово лицо.

Он сбрил прыщ, и чуточку крови растворилось в пене.

Во сне он прикусил язык. Теперь во рту была болезненная мягкая шишка. Было пребольно, когда он задевал шишкой края зубов, особенно один край, острый, шершавый. Он высунул язык, стараясь разглядеть, где там болит. У него язык был весь обложен желтым, совершенно непристойный язык.

В одном ракурсе вдруг проступило сходство с отцом. Он вздрогнул, дернулся. Сходство исчезло. Как он отвратительно похож на меня, подумал он.

Убить себя? Так я убью и отца.

Он толком ничего не помнит. Были в гостях. Остался в памяти только очень длинный стол с яствами, чужие импозантные портьеры, создававшие в комнате комфортабельный полумрак. А на кухне были

часы с гирьками и кукушкой. Он сломал часы; кажется, он сделал что-то не то с гирьками.

Сломал часы и надругался над кукушкой.

Хозяев дома не было, но были родители. Он часами томился, понимая, что неисправность часов будет обнаружена и будет совершенно ясно, хотя бы методом исключения, кто их сломал. И он пошел в ту комнату, признаваться отцу. Надо признаться самому, прежде чем поймают, иначе твой грех не простится никогда.

что-то сказал отцу, отец что-то ответил

не помню, что это был за разговор очень короткий

Сейчас я тебя буду лупить, сказал отец.

И я тебя, пролепетал он, падая в бездну ужаса.

Потом отец, таская его по комнате, бил его ладонью по заднице, абсолютно не больно. Но неважно, он тонул, захлебывался в ужасе. Он не помнил, когда это кончилось. Не помнил и не понял, что кончилось.

А еще: один раз его всего изваляла в снегу собака. Она лаяла, и даже не сказать, чтобы как-то особенно злобно. Она ни разу его не укусила, просто сшибла с ног и принялась валять. Соседские мальчишки смеялись. А он тонул в ужасе точно так же, как тонул в ужасе в этой истории с часами с кукушкой. Он был весь в снегу, со снегом за шиворотом, снегом в валенках, хотя это было совершенно неважно.

С тех пор собаки внушали ему почти панический ужас.

И отец внушал ему панический ужас.

Но отца, в отличие от собак, он уважал. Преклонялся, боготворил, трепетал. Отец прав всегда. Собственно, его суждение и было критерием истины.

А лет с четырнадцати он ловил себя на мысли, что втайне он хочет убить отца…

Потом он мыл руки зеленеющим яшмовым мылом, серой, горячей, должно быть, очень невкусной водой. После того как вытер руки, некоторое время стоял, глядя в пол. Вода лилась. Он выключил ее.

За окном пошел редкий снег. Вьющиеся мелкие сухие снежинки, взвешенные в воздухе, каждая сама по себе. Они не падали, просто летали, болтались.

Раз в неделю какая-то женщина приходила убирать у него.

Уйти на работу не удалось. Еще успею. Он пошел гулять по своей необъятной, пустой квартире. Пытался найти шерстяные носки, но не нашел. Нашел другие, старые, малиновые, дырявые.

Он словно не ходил по квартире, а медленно выгребал в маленькой плоской лодчонке, медленно плыл в утренней дымке. Медленно он озирался по сторонам. Он осматривал комнату. Потом начинал искать переход в следующую. Иногда перехода было два. Один раз он попал в цикл, и только с третьего раза осознал, что крутится по кругу. Старые носки мягко шаркали по паркету. С трудом натянул на носки свои тупоносые шлепанцы.

В некоторых комнатах было темнее, в некоторых светлее.

Куда бы он ни ступал, везде вдоль стен стояли деревянные параллелепипеды мебели, со стеклами и без, безмолвствовали закрытые шкафы и комоды. Они тускло, фальшиво блестели позолоченными замочками. Полупустые полки с книгами, пластинками, везде пепельницы с зажигалками возле них и с начатыми пачками. Все зажигалки были одинакового, абрикосово-желтого цвета. Таков был цвет его зажигалок.

В некоторых комнатах стопки пластинок и книг были разбросаны прямо по полу, они попадались, обнаруживались так же случайно, как когда-то давно упавший с сигареты пепел или выкинутый пакет из-под чипсов.

В одном темном переходе между комнатами он споткнулся обо что-то и чуть не загремел, но схватился за близкий косяк и устоял. Что это было? Вроде книги, судя по звуку — сначала глухому стуку, потом утихающему, уезжающему шуршанию. Это были репродукции Дюрера и «Сборник задач по начертательной геометрии». Задачник был книгой брата жены брата, который когда-то приехал поступать в вуз, он

забыл ее здесь по пьяне, потом года три звонил, договаривался, как бы ее забрать, лет пять назад перестал звонить.

Все дальше и дальше он шел. Комнаты становились все более пустыми, все менее знакомыми. Мебели все меньше. Неизвестно, когда он был здесь в последний раз.

В одной такой комнате он увидел одинокую пластинку, лежащую на полу. Изодранный старый конверт, с какими-то старыми детскими каракулями на нем. Он присмотрелся к конверту. Да, это его собственные каракули, сделанные, когда ему было пара лет. Вынул саму пластинку, взял за ребра. ВИЛЬГЕЛЬМ ФУРТВЕНГЛЕР. П.И.Чайковский. Симфония №6, «Патетическая». Берлинский филармонический оркестр, 1938г. 1933 < 1938 < 1945. Как смешно. Еще немного, и эта пластинка не смогла бы появиться, и сейчас бы он ее в руках не держал.

Он набрел на комнату, где он точно ни разу не был. Мебели не было. Обои со следами побелки, измызганное известью ведро, какая-то затвердевшая строительно-рабочая ветошь. Посреди комнаты, в дымящемся свете, на полу стояла пепельница. На ее дне был изображен Нотр-Дам. Немного светлого пепла лежало в ней, нет даже окурка. Он обошел пустую комнату. Пожал плечами и побрел назад. Комната как комната. Пока что она еще не успела обрасти мебелью изнутри.

БредЯ, переходя из комнаты в комнату, он вновь очутился на кухне. Притворяясь, будто не понимает, что делает, он включил электрочайник, который сразу же устрашающе зашумел; щелкнул и смолк, издав некое примирительное, сходящее на нет бурчание. Он опять сыпанул кофе и опять плеснул воды. Пошел в свою комнату. В комнате, все так же притворяясь, будто не понимает, что делает, подошел к полке. И заиграл Брукнер.

В конце концов, подумал он, сегодня день необычный, и можно сделать исключение. Не каждый день у тебя умирает брат. А в конторе можно будет показаться ненадолго; в любом случае, много он за сегодня не успеет.

Он утешал, уговаривал себя, и, кажется, уговорил. Не до конторы, черт с ней. Хотя уговорил не до конца; он понимал, что прогуливает — так или этак, но на работу надо ходить каждый день.

Брукнер звучал. Очень громко; дребезжали стекла в серванте, и посуда стучала зубами.

Вдруг Брукнер мощно тронул свою лиру, которой являлся весь оркестр, на трагическом низком аккорде. Он куда-то взмыл, и тотчас же кто-то начал отсчитывать в нем стихотворение: «душа моя мрачна скорей певец скорей»…

я слез хочу певец

Перечисление стихотворения заняло минуту, и слезы воспоследовали, из него брызнуло, как из игрушечной резиновой брызгалки. Струнные куда-то делись, сейчас перед ним темной массой толпились, теснились духовые.

Брукнеровское адажио. Не отдых, но отдохновение после битвы. Сон Бога. Он брел через Брукнера, как в брод. Только война рождает отдых. Хайль Брукнер! Завтра принадлежит мне. Брукнер звучал, меняя ему кровь, изменяя вкус слюны во рту. Зеленое поле и белые скалы. Мечта о рае, мечта о конце войны, без которой, однако, нельзя жить.

Адажио ослепительно завершилось, но еще некоторое время скитался, моля, его призрак.

Поперла катастрофа скерцо.

Поднатужился какой-то бас в оркестре, симфония въехала в басовую рытвину, что-то хрюкнуло, и левая колонка лопнула. Он стоял, оглушенный этой внезапной половинностью звучания симфонии, рассеченной вдоль. Он ожидал увидеть огонь и дым, но их не было. Одинокая колонка звучала бедно, фальшиво. Глупо улыбаясь, он выключил.

Истерзанный брукнеровским отдыхом, он опять пошел на кухню, потому что надо было куда-то пойти. Но из кухни сразу же отправился в прихожую — контора ждала его.

Он уже уходил, но тут путь ему пресекло Второе Утреннее Видение: наперерез ему уверенно шла заграничная молодая телка из журнала, по плечам рассыпаны желтые волосы, молодые титьки уверенно прыгают в майке, загорелые мускулистые ноги, теннисная ракетка в руке, - и он услышал упругий удар волана о ракетку, увидел слепящий горячий песок, искрящееся голубое море, лежачую орду загорающих людей на полотенцах, тенты… Он остолбенел на миг. Но видение исчезло, и он пошел дальше.

Вышел из своей квартиры.

Спускаясь по лестнице, он вспомнил приснившийся ему сегодня сон. Ему снился его старый учитель рисования. Он умолял учителя признать, какой великолепный художник Эдуард Мане, но учитель брезгливо отмахивался: барахло твой Мане, то ли дело Моне, а он говорил: я имею в виду Эдуарда Мане, а учитель отзывался: ну да, барахло твой Эдуард Мане, а я говорю о Клоде Моне. Он умалял учителя, заклинал, но тот все издевался. И никак все было не выпутаться из этого. Весь дальнейший сон он проползал по тяжелой, густой земле. Сверху его неотступно преследовала ноющая, нудная виолончель. Вверх глядеть было нельзя, хотя мучительно хотелось. И он все ползал, глядя в это коричневое, густое, тяжелое. Виолончель тянула из него жилы, переедала ему плешь.

Глубоководные рыбы, почему вы такие уродливые, страшные?

Если бы мы не стали такими, то мы бы погибли. Так что извини.

Но теперь-то вы уже можете подняться повыше?

Когда-то могли, но теперь уже не можем: нас разорвет изнутри.

Он вышел из своего подъезда.

Осторожно! Ротвейлеры в моде! И пулеметы.

Было не по себе стоять одному, в этом огромном пространстве. Правда, он дышал холодным свежим воздухом. Это плюс.

Но уже машина подана. Она подкатила к его парадному, колыхая ледяные лужи. Стала, естественно, в лужу, чтобы пришлось перелезать через нее, для того, чтобы попасть в машину. Он добросовестно перелез. Экий ты тупой, братец, со злостью подумал

он про шофера. Шофер сидел как ни в чем не бывало. Он было хотел зло сострить, но тут ощутил волнующий с детства запах бензина и ничего не сказал. Вернее, сказал другое.

Ну, как дела, братец?

Какие у нас дела… Так, помаленьку.

Ну-ну. Трогай, что ль.

И они поехали. Оставаться дома он не мог, а на работе он найдет, как провести время до похорон брата.

Город, по которому они ехали, был полон каменных серых домов, украшенных виньетками — где полегкомысленнее, где помрачнее, где посовременнее, где постариннее, где потемнее, где посветлее, где пороскошнее, где поскупее. Он был полон соборов, площадей, мостовых, асфальта, небоскребов, готических замков, аккуратных мещанских домишек, памятников архитектуры, смрадных трущоб, офисов, контор, представительств, музеев, обменных пунктов, супермаркетов, кафешек, пивнушек; центров труда и центров досуга, центров жизни и центров смерти, центров радости и центров горя; заносчивости цивилизации и мудрости веков; что ни придумай — все было в этом городе.

Они ехали по его улицам.

Некоторые улицы были совершенно пусты. Некоторые, наоборот, были набиты, как метро в час пик. Клерками, работягами, лавочниками, панками, неграми, миллионерами, адвентистами Седьмого Дня, туристами. Это был большой город.

Зазоры между домами были разные. Некоторые были широченными современными проспектами, некоторые — узенькими средневековыми мощеными улочками. Город строился очень долго, разными поколениями, которые ничего не знали друг о друге. Строился он и сейчас.

На площадях стояли памятники; или памятники тем, что раньше называлось «святой», причем на скульптурах был изображен какой-то сюжет — уже никто не помнил ни самого святого, ни тем более, сюжета; или памятники тем, что раньше называлось «воин», как

правило в старом рыцарском облачении, иногда тоже с каким-то сюжетом — и, точно так же, никто не помнил, что это за воин и что это за сюжет.

Лишь немногие памятники были ни теми, ни другими.

Он ехал, весь обмякнув, как свежий покойник. Так же, как и кофепитие, это тоже было *его* время. Время поездки на работу. Так же мечталось, отдыхалось, почти грезилось.

Они собирались в этом разрушенном войной павильоне. Это было далеко, но иногда они доходили досюда. В павильоне оставались пепелища их костров. И росписи углем на стенах: «Киса», «Грыжа», «Парамон»… Рядом было прекрасное старинное озеро. Они подолгу пускали блины по воде. Он, помнится, здорово насобачился. Сиреневыми летними вечерами, когда закат делает розовыми выпуклые пушечные облака.

Ничего из этого города их не интересовало. Им было нужно туда, где располагались КОНТОРЫ.

Конторки, конторы, конторищи.

Вот они проезжают мимо Главной Конторы.

У ворот в Главную Контору с обоих боков сидели, изготовясь, два льва. Во львах было что-то вкрадчивое и коварное, змеиное. Дорожка в главный вход была лирически присыпана осенними листьями. Здание было тем, что раньше называлось «дворец». У самого входа стояли два гвардейца, с усами и грудью колесом.

Недавно прошли Всеобщие Судьбоносные Выборы. Каждый третий высказался за убийцу. Точнее за того, кто оправдывал убийц. Значит, каждый третий — убийца. Я окружен убийцами. Как странно и как просто. Я уже привык жить среди убийц, хотя я не представляю, как можно к этому привыкнуть.

Вдруг он услышал огромный, громовой голос, идущий из какой-то огромной, непонятно где расположенной пустоты. Голос был его собственный, но шел он извне, из неоткуда. Он слушал его.

Ты, который поставил скромную галочку против фамилии «Гитлер», стократ виновнее любого бандита или серийного убийцы. И если есть ад, то сначала ТЫ будешь гореть там — все вы, сколько вас там было миллионов, - а уж потом они, по остаточному принципу. Они по крайней мере рискуют, а вы и не рискуете, точнее, думаете, что не рискуете, а значит и вправду не рискуете. Думаете, что спрячетесь за какими-нибудь большими словами, вроде «народ», «история». Нашкодить, напаскудничать, а потом ныть — вот и все, что вы можете. Но от МЕНЯ вы не спрячетесь. Я каждого, каждого найду.

Вас обманули? Не будь сукиным сыном, и никто тебя не обманет! Ты, обманутый, просто хочешь подвинуть шашку рукавом и ждешь санкции на это, потому что боишься сделать это сам. Обманов нет — есть санкции. Санкции на что хочешь.

Вот, например, меня, почему меня никто ни разу не обманул? Никто и никогда? Я хочу, чтобы меня обманули. Я сам обманываться рад, так обманите! Ну? Не можете…

Он вспомнил Варшавское гетто. Подыхающие евреи, гогочущая публика. Каждый такой гогочущий — наш сосед по лестничной площадке, мировой мужик, сослуживец, с которым очень хорошо выйти покурить на сон грядущий. Прекрасный семьянин, в общем. И достопочтенный избиратель.

Ни один мускул не дрогнул на его лице.

Ладно, спокойно. Чего это я? Как ребенок все равно что… хе-хе… Пора бы уж привыкнуть, где живешь. С КЕМ РЯДОМ живешь.

Ненадолго они вырвались из скопления зданий-контор и ехали по набережной Реки.

Вода в Реке волновалась на одном месте, однообразно рябила в глазах. Она что-то все предвещала и предвещала своим волнением, но ничего томительно не случалось. Обычно он с удовольствием смотрел на Реку, она освежала его, как-то приподнимала. Но сейчас только

утомила, разбередила что-то в нем. По воде ехал катерок, оставляя бурливый шлейф, ехал как-то неприятно медленно. Хотелось дать ему пинка, чтобы подбодрить. Задрыпанный, мелкий катерок очень не соответствовал обширности и бурливости шлейфа.

Приехали.

Большое, внушительное здание, над входом в которое было написано:

Пророческая контора «МУХОМОР». Лицензия №8841353/69-FW

И внизу крупным, заранее восклицательным шрифтом:

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ СВОИХ ПРОПОВЕДЕЙ КОНТОРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

Перед тем, как вылезти из машины, он спросил у не до конца прощенного им шофера:

Мы, как, не в луже стоим?

Шофер завыглядывал из машины в разные стороны и доложил:

Да вроде нет…

Видно было, что он не до конца уверен в своих глазах.

Ну вот и чудненько, сказал он.

В лифте пахло какой-то современной, усовершенствованной, полезной для здоровья пакостью. Только войдя в лифт, почувствовав пакость, он экспромтом решил проинспектировать своих работников, им это полезно. А то давно он этого не делал. Тупо ткнул пальцем в случайную кнопку «6». Лифт с готовностью взмыл. Он вышел из лифта и пошел налево. Одна стена была галереей почти не отделенных друг от друга окон. Противоположная контора, видная через окна, была ниже, и, идя, он видел левым боковым зрением полоску серого, сирого неба. А по правую сторону были кабинеты и офисы.

Он шел, ступая по зеленому паласу, глушащему звук. Этот палас проложили недавно по его приказу.

Повернул направо.

Теперь по левую сторону оставалась другая контора, выше, чем его. И совсем близко, буквально десять метров перелететь, была другая галерея чужих окон. Он долго шел навстречу женщине в белом

деловом костюме, шедшей в тех других окнах. Тамошние сотрудники все были в белом. А его — все в черном.

Он дошел до главного офиса этого этажа. Открыл дверь, поздоровался:

Доброе утро, товарищи!

Здесь было черное и белое. Черное — это костюмы и галстуки его служащих с неразличимыми лицами. Белое — мертвая белизна компьютеров, факсов, принтеров, бумаги; рубашек служащих, их лиц. Он почувствовал, что зашел в какой-то инопланетный, фантастический инкубатор.

Люди в костюмах и в галстуках задвигались, начали наперебой здороваться, сливаясь в сплошной гул; самые трусливые даже приподняли зады со своих кресел.

А один его не услышал: он был поглощен чтением газеты.

Т-а-а-к…

Он подошел к тому, тронул его за газету и попросил:

Слушай, дай половину, а? Потом махнемся!

До читающего газету наконец дошло, что случилось. Он быстро положил газету и уставился на него и молчал. Так, помнится, он сам не мог выдавить из себя ни слова, когда отец собирался его лупить. «Лупить» - любимое слово отца.

Этот сотрудник был совсем паренек, наверно, совсем недавно его отдали сюда, он, наверно, плакал по ночам, и все собирался написать письмо дедушке на деревню. Боже, какой он жалкий, несчастный и молодой в этом взрослом черном костюме и черном галстуке!

Ему стало совестно. Он улыбнулся, потрепал того по плечу и погрозил пальчиком.

На работе надо работать, сказал он, все так же улыбаясь. Потом еще раз поклонился всему офису и пошел, открыв и закрыв дверь, к лифту.

Пусть ненавидят, лишь бы боялись, подумал он цитатой и усмехнулся.

Доехал, дошел до своего кабинета.

По дороге ему встретилась уборщица, очень быстро и очень тщательно теревшая пол. Здравствуйте, сказал он, проходя мимо. В ответ та улыбнулась блеклой сахариновой улыбочкой.

Сзади цокали чьи-то каблуки, несшие, вероятно корреспонденцию или отчет. Он удивился, как они умудряются цокать, несмотря на палас. Не везде его проложили, несмотря на приказ? Или идет у стены по краю? Но оборачиваться он не стал.

Вошел в приемную, поздоровался с секретаршей, очутился у себя в кабинете. Кабинет был небольшой. Одно время он переехал в огромный, министерский, что более соответствовало его статусу, но ему было там так тоскливо, что через несколько дней он не выдержал и удрал назад.

Стена за его столом была сплошное пуленепробиваемое стекло. Недавно он приказал, чтобы заднюю стену переделали таким образом. Было сладковато, жутковато ощущать сзади идеально прозрачное стекло, точнее — отсутствие стены сзади себя, ощущать позади эту пустоту и высоту. Всякий раз, садясь за свой стол, он чувствовал приятное замирание сердца. Он нарочно так сделал. С детства до смерти боялся высоты.

Одна стена была полностью отведена под плющ, очень густо и цепко покрывший, обвивший ее.

Другая — под разные умные книги, которые он в разное время притащил из дому и забыл отнести назад. А теперь думал: может, и не стоит. Солидности больше. Вблизи их он чувствовал себя великим чернокнижником, магом.

Плющ на стену повесила его секретарша, маниакально любившая цветы. Ему это не нравилось, но он не мог найти причины, по которой он бы имел право запретить ей делать это.

И вся скромная приемная была обсажена цветами. Секретарша выглядела смотрительницей маленького ботанического сада, сидящей в цветах. Посетителям, у которых была аллергия на цветы, приходилось ждать в коридоре.

Секретарша, эта пожилая ахающая дура, цветоманка, красящая колечки своих волос голубым, опять, разумеется, принесла ему холодный кофе (день в офисе он тоже начинал с кофе, по тем же причинам). Она - очень старый кадр, теперь он держал ее скорее из милости. Она заботлива, но настолько идиотка, что ничего не может сделать толком. А ему все не хватало духу ее уволить. И он уже смирился с тем, что такая секретарша будет у него до конца дней (или его дней, или ее). Она была единственным сотрудником, перед которым он как-то терялся. Еще она любила птиц, хорошо еще, что клеток с канарейками и попугаями сюда не нанесла.

Сел, ощутил легкую сладкую жуть. Сразу же забарабанил пальцами по стеклу стола. Стол, покрытый прямоугольным листом толстого стекла, был абсолютно пуст; кроме компьютерного монитора с клавиатурой, там абсолютно ничего не было. Телефон ему был нужен постоянно, но он ненавидел телефоны, и секретарше все время приходилось таскать их к нему. Бумаги — в ящике стола, самые важные, чтоб не погибли ненароком в секретаршином бардаке. Да есть люди и посолиднее, чем секретарша, занимающиеся бумагооборотом.

Нет, все-таки не совсем пустой стол. Еще чистая, абрикосово-желтая пепельница.

Он слышал, как секретарша напевно бормочет себе под нос (дурацкая привычка!). Что-то такое: скоро придет весна-красна. Сосулечки на головку будут падать…

Некоторое время он с интересом слушал ее. Даже пальцы застыли в молчании на столе.

Кофе принесен. Бумаги тоже.

Так, приступим. Все встречи и переговоры уже заранее отменены. Надо вызвать своего вице и сказать, что пока он за главного. А потом найти себе занятие. Вице появился сразу же — он никогда не заставлял себя ждать. Вице было лет двадцать пять. Одет он был в грязноватый свитер почти до колен и в выцветшие джинсы с прорехами. В конторе так повелось — если в костюме, в галстуке — значит мелкая сошка, а если так, как вице — значит большой

человек. Сам он был никак не одет. Сегодня только оделся формально по случаю похорон брата. С виду вице был хиповый мальчик с подростковой, просвечивающей на свету растительностью на лице, - но ушлый, беда.

Выражаю соболезнование, шеф, очень серьезно сказал вице.

Он сделал движение рукой: вольно, мол. И сказал:

Меня сегодня нет. Ты за меня.

ОК, - ответил вице, не задавая лишних вопросов. Такое уже бывало.

Не понимая, зачем он это делает, он сказал вице:

Устал я что-то…

Вице, чего он совсем от него не ждал, отреагировал очень живо:

И от чего?

Он растерялся. Почти машинально ответил:

От работы…

От работы не устают, уверенно сказал вице.

А от чего устают?

От проблем.

Это было неожиданно. Он задумался над словами вице… Вслух сказал:

Ишь ты… Ну ладно, ступай, братец. Спасибо за участие.

Вице почтительно удалился.

Он подумал вслед:

В меру фанатичен, в меру расчетлив, в меру корыстен. Такому бы в политику. Он, наверно, в нее и уйдет.

Ничего срочного не было. Но сидеть просто так быстро надоело. И он решил покопаться в том, что принесло секретарша.

НЕПЕРЕДАВАЕМЫЙ АРОМАТ НАШИХ ПРОПОВЕДЕЙ ЗАСТАВИТ ВАС ОДУРЕТЬ ТАК, КАК ВЫ НЕ ОДУРЕЕТЕ НИГДЕ.

Это была новая реклама, которую он должен был одобрить. Он не одобрил. Ни выдумки, ни остроумия, ничего. Голый смысл, хотя и правильный: одурение социально приемлемым образом — цель

практически любой религии и философии. Откровенная халтура. Нет, ребята, мы так не договаривались. Да и не надо столь сильно обнажать смысл — мы, мол, охмурялы. Потоньше надо.

Еще будет разговор об этом.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ИСТИННЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ.

А это что за дурь?

Он не поленился набрать вице.

Что это за движение за подлинный психоанализ?

Да тут в буклетике все написано. Они выступают за убийство своих родителей. Родители, мол, тянут нас назад, в смерть. А эти все молодежные бунты — просто не о чем. Только убивать, давно уже пора. Это я их пересказываю, просят о сотрудничестве.

А что, были случаи?

Точно не знаю. Возможно.

Я не знаток психоанализа. Но убивать прямо так-таки необходимо? И, кстати, за что?

Ну, убить-то всегда есть за что.

И то правда, сказал он.

Чуть подумал.

Да нет… Это уже форменная уголовщина, ты что, не видишь? Этак мы вляпаемся с тобой, друг мой ситный.

Все я вижу. Но быть в курсе — не помешает. Я думал, для вас будет интересно.

Что ж, пожалуй… Ну хорошо. Инцидент исперчен.

И повесил трубку.

В их лесу, том лесу, рядом с которым они жили, было полным-полно старой военной дряни, оставшейся от финской войны. Были любители ее выкапывать, ходить, обшаривать лес. Он, правда, не увлекался. Родители ему строго-настрого: и не думай, и не смей. Как раз недавно в дальнем дворе погибло двое мальчишек. Одного наповал, кишки вырвало, как рассказывали. Он стал думать, что «наповал» - это когда кишки вырывает.

Один раз он наткнулся на изъеденный, изъязвленный ржавчиной остов винтовки без приклада. Зеленые гильзы попадались. Даже каски иногда.

Когда-то здесь проходила линия Маннергейма.

Вдоль бесконечных, что вправо, что влево, железнодорожных путей шла такая же бесконечная канава. Ему казалось чем-то самим собой разумеющимся, что эта канава и есть линия Маннергейма.

Смотреть буклет он пока не стал, а взялся проглядеть, да и поправить, если надо, последние проповеди: «Величие смерти как величие крушения», «О низости любви и о благородстве дружбы», «Целительная сила ненависти», «Страх боли», «Страх страха», «Вся правда о Раскольникове». Долго, долго он с ними возился, и все никак их было не довести до ума. Глаза бы не глядели…

Стал проглядывать статью для философского журнала «Молот». Журнал выходил как независимый, но был фактически журналом «Мухомора», то есть фактически его журналом. Статья называлась «Ничто и Ничего». И тут то же: все было сказано, но почему-то никак все было не закруглиться. Какой-то еще оттеночек оставался, который он хотел бы запечатлеть. Ладно, шут с ним, а то никогда не напишу. И он довольно-таки грубо завершил статью, наплевав на некоторую смутно ощущаемую недоговоренность.

Только сильный имеет право судить сильного. Ты презираешь коротко стриженого быка с перстнями? Так вот: сначала стань не трусливее и не слабее, чем он, а потом презирай. ПОСЛЕ, а не ДО.

Сравняйся с ним, а потом и занимайся своей романской филологией.

Опять сиди и ничего не делай. Идеальный стол, идеальная пепельница. Секретарша всем там докладывает, что его сегодня нет и не будет; просьба не беспокоить. Тоска зеленая.

Он вспомнил о своих конкурентах. Все было хорошо, но его слегка беспокоила недавно появившаяся пророческая контора «Акт веры» (сокращенно «аутодафе»). Без году неделя как открылись — и успех оглушительный; аудитория растет как на дрожжах, хотя до

«Мухомора» им пока далеко. Но надо бы мониторить ситуацию. Черт его знает, сколько найдется готических изуверов. Он читал кое-чего из аутодафешного: бойко излагают. И логотип с «DIES IRAE» вполне недурен.

А может, к черту все? Жил бы как хотел бы. Где хотел бы. О чем мечтал, то и сбудется. Отдельный дом, охрана. Собаки самых жутких пород, собачьи отморозки. Пусть теперь все их боятся, все, кроме меня. Янычары с кривыми саблями. Возьми-ка меня теперь. И горилл еще понаставлю. Настоящих горилл.

из ледяной синевы будут вылетать захлебывающиеся бешенством псы, один за другим

И музыка. И книги. И домашний уют. Шлепанцы — непременно. Более того — семья, домашний очаг. Долгожданный, чаемый и недостижимый д о м а ш н и й о ч а г, охраняемый четырехногими отморозками, отморозками двуногими, пулями со смещенным центром, колючей проволокой, рвущей мясо, электрическим током, испепеляющим на месте.

Похоже, вице отобрал для него две газеты, в каждой по статье о нем.

В одной было сказано следующее:

«Этот «великий человек» (а он и вправду велик, ибо в одном лице сочетает государственный размах Бетховена и музыкальный гений Бисмарка, человеколюбие Ницше и неистовость Альберта Швейцера — впрочем, этот список настолько длинен, что вряд ли стоит его продолжать; можете, если не лень, продолжить его сами) отвергаем нашей «либеральной», как они сами себя называют, «элитой», только в силу ее полной вырожденности и скудоумия. Кем только они ни кроют нашего героя, вплоть до «фашиста» - в то время как он не кто иной, как засланный казачок либерализма, «общечеловеческих ценностей», которые правильнее было бы назвать «только-человеческими» ценностями. В некоторой чуткости ему не откажешь, и он, отлично понимая, что «только-человеческие» ценности были лишь кратковременным затмением на пути человечества, все-таки пытается

спасти из либерального багажа то, что, по его мнению, еще можно спасти. Разумеется, усилия эти…»

И так далее.

А в другой было написано вот что:

«Для нашего насквозь прокультуренного героя парадоксальным образом важнейшим в человеке оказываются самые наши примитивные инстинкты и импульсы. Презирая Фрейда на словах, он, однако, вполне воспринял положение об инфантильно-сексуальной природе человека.

…Впрочем, наш герой, как уже было сказано, - прокультуренный, культура для него - действительно нечто обыденное, обиходное, и поэтому он, жонглируя всевозможными «комплексами», столь же запросто оперирует и разного рода культурными обломками.

Таким образом, либо примитив, либо самое верхушечное. Нет середины, нет того, что можно условно назвать с о ц и а л ь н ы м. Полбеды, если бы он ее, эту середину, только презирал – для него это было бы вполне естественным. Настоящая его беда в том, что он, на словах презирая социальное, этого социального просто н е з а м е ч а е т. Приходило ли ему в голову, что нельзя презирать того, чего не знаешь? Видимо, нет. Он-то думает, что знает. И это свое презрение к тому, чего не видишь, не знаешь, он распространяет и на других людей, жизнь которых в огромной степени социальна, на людей, которым не отказано в социальном зрении, напрочь отсутствующем у него самого. Вот одна, очень характерная для него реплика:

«Живем мы лет до 17, потом – расхлебываем, потом, если повезет, – доживаем».

Собственно, это все, что у него есть сказать о человеческой жизни. Маловато, согласитесь. Странно: человек, не знающий жизни, учит этой самой жизни других.

Нотр-Дам, часто используемый им в качестве символа западной культуры, не мог бы возникнуть без социального, без его многовековой истории. Если же принять мировоззрение нашего героя,

то можно заключить, что Нотр-Дам возник непосредственно в результате сосательного рефлекса или страха кастрации. Или же в результате чтения книжек и разглядыванья репродукций.

…Вот почему его проповеди, написанные ярко и порой даже не без глубины, все равно оставляют ощущение некоторой поверхностности, пустоватости».

Он проглядел все это без особого интереса. Собака лает — караван идет.

Он увидел сентябрьское солнце в образе старенькой добренькой старушки. Ни ума в ней больше, ни души, ни даже плоти. И, конечно, никаких сил. Только добренькая улыбка осталась, единственное, что осталось для тех, кто помнит ее молодой.

Первое сентября. Солнце. Девчонки с косичками скачут по меловым квадратам на асфальте. Мальчишки носятся и колготятся вокруг футбольного мяча. Они кричат, пищат, как кружащие чайки. Кружащие над морем или над помойкой. Как будто ничего не случилось.

И ВЫ СМЕЕТЕ ИГРАТЬ В ТАКОЙ ДЕНЬ??

А он один стоит у стены. Стоит почти в обмороке. Первое сентября, второе сентября, третье сентября. Опять закрутилась чертова карусель.

Первое, второе, третье, пятое, семнадцатое. Ты идешь в море, уходишь от пляжа, от пляжного отдыха с волейболом и тентами, вот уже буйки остались позади, вот уже ты недосягаем для спасателей, вот уже берега не видно. Ты один среди морской пучины. Только морские чудовища с латинскими названиями. Что до берега далеко, что до дна.

У «Мухомора» - самая мощная охранная структура, теряющаяся в федеральных коридорах. Она стала такой его стараниями. Один из относительно великих сих говорил ему: Твои проповеди — про меня. Все мои мерседесы с тропическими дачами — шкура, в которой я прячусь от мира. Шкуру я добыл комфортабельную: если все равно прятаться, так лучше уж комфортабельно. Ты ненавидишь буржуа; я с

виду принадлежу к ним, но внутри-то — нет, и я с удовольствием смакую твои проклятия. И знаю кучу народу таких же, как я.

Римский вельможа, тайно исповедующий христианство.

Он ответил тогда: никаких буржуа давно уже нет. Все только притворяются ими. Буржуа остались в прошлом, если не в позапрошлом веке.

Он никогда не понимал, что это значит: «Не может дать в морду, потому что не так воспитан». Что значит — не так воспитан?! Жрать, например, все одинаково воспитаны. Умение дать в морду — это, может быть, самое основное в жизни и есть, а вовсе не, например, учеба. Он чувствовал, что дать в морду — это нечто б а з о в о е . А все остальное — наносы. Наносы и нюансы.

Связано с «социальным неблагополучием». Интересное неблагополучие! Да вы что, смеетесь? Да они владыки, аристократия! Делают, что хотят. Семью и школу они имели в виду. Они имели в виду все. Это вы называете неблагополучием? Это мы всего боимся. Пришел со школы, где правят они, а дома — уроки, родители. Родители, эти ничтожества… Имеют их круглый год на работе, а дома можно выеживаться над беззащитным. Почему беззащитным? Но у него не хватало духу послать родителей на три буквы. И не хватит, он чувствовал. Своего отца он уже тогда ненавидел, но все равно не мог не признавать его п р а в о т у , не признать и не покориться.

Так, боящимися всего с самого рождения, мы и сходим в могилу.

Он действительно думал так, не мог не думать, точнее, не видеть — торчало перед самым носом.

« - «Я ничего не вижу, но я тем больше слышу. Это вкрадчивый, коварный, едва различимый шепот и шушуканье во всех углах и закоулках. Мне кажется, что здесь лгут; каждый звук липнет от обсахаренный нежности. Слабость следует перелгать в з а с л у г у , это бесспорно — с этим обстоит так, как Вы говорили», —

- Дальше!

- «а бессилие, которое не воздает, - в «доброту»; трусливую подлость — в «смирение»; подчинение тем, кого ненавидят, - в

«послушание» (именно тому, о ком они говорят, что он предписывает это подчинение, - они именуют его Богом). Безобидность слабого, сама трусость, которой у него вдосталь, его попрошайничество, его неизбежная участь быть всегда ожидающим получает здесь слишком ладное наименование – «терпение», оно столь же ладно зовется добродетелью; неумение отомстить за себя называется нежеланием мстить, может быть, даже прощением («ибо они не ведают, что творят, - только мы ведаем, что они творят!» [на этом месте он ржал всегда]). *Говорят так же о «любви к врагам своим» - и потеют при этом». - ».*

Когда он впервые прочитал эти слова, он удивился, насколько все это ему понятно…

Еще одна газета. У ПРОРОЧЕСКОЙ КОНТОРЫ «ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ» В ПОДВАЛЕ НАШЛИ БАЦИЛЛУ БЕНГАЛЬСКОЙ ЧУМЫ.

«Гаечный ключ» - еще одна пророческая контора; небольшая, но весьма энергичная, рассчитанная преимущественно на молодежную аудиторию. «Гаечный ключ» постоянно пребывал на грани закрытия из-за своего, как выражались, «экстремизма», из-за него же он хронически судился со всеми сразу. «Мухомор» обвиняли в тайном сотрудничестве с «Гаечным ключом», но доказательств не было ни малейших. Только ни на чем не основанные слухи. Было несколько таких контор, сотрудничество с которыми «Мухомору» постоянно инкриминировали – «Черный беспредел», например. Эхо их судов и скандалов доносилось и до «Мухомора», - так что и мухоморным журналистам, и, ничуть ни менее, мухоморным юристам не приходилось сидеть без дела.

Это новость была не очень хороша для «Мухомора». Возня обострится, их, скорее всего, тоже помянут. Ну да хрен с ними со всеми…

Черт! Еще же нужна статья для Очень Большой Газеты. Вот с чего надо было начать! С ней тянуть нельзя. И перепоручить нельзя,

он должен написать ее сам. Вечно у него в делах бардак. Как был раздолбаем, так и остался. Ну, ладно, три-четыре:

…ОБЯЗЫВАЕТ НАС ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ВЕЛИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ. NOLI MI TANGERE – CIVIS ROMANUS SUM. КАК И РИМЛЯНЕ ВО ВРЕМЯ ОНО, МЫ, ЕВРОПЕЙЦЫ, НАСЛЕДНИКИ БАХА, ЛЕОНАРДО, ТОЛСТОГО, КАФКИ (И НАС ЖЕ ЕЩЕ ОБВИНЯЮТ В «БЕЗДУХОВНОСТИ»!) ДОЛЖНЫ ТВЕРДО И НЕДВУСМЫСЛЕННО ЗАЯВИТЬ: НЕ ТРОНЬ МЕНЯ, Я - ЕВРОПЕЕЦ. А ТРОНЕШЬ – РУКИ ОБОРВУ. БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ДРЯБЛОСТИ И НАПЛЕВАТЕЛЬСТВУ, ВЫДАВАЕМЫХ ЗА «ТЕРПИМОСТЬ», МЫ СОЗДАЛИ У ЭТИХ ЛЮДЕЙ ИЛЛЮЗИЮ, БУДТО БЫ ОНИ СПОСОБНЫ СОСТЯЗАТЬСЯ С НАМИ, КАК В ВОЕННОМ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ, ТАК И В ДУХОВНОМ. НА ПОСЛЕДНЕЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ОБ ЭТОМ ЧАСТО ЗАБЫВАЮТ СРЕДИ НЫТЬЯ О ПЛЮРАЛИЗМЕ КУЛЬТУР.

КОНЕЧНО, НАМ НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ НЕЛЕПЫЕ РАЗБОРКИ МЕЖДУ РАСАМИ И НАЦИОНАЛЬНОСТЯМИ, А ОСОЗНАТЬ СЕБЯ ЕВРОПЕЙЦАМИ, ЕДИНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТЬЮ. СОВЕРШЕННО НЕВАЖНА НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙЦА – ГЕРМАНЕЦ ЛИ ОН, КЕЛЬТ, СЛАВЯНИН ИЛИ АРАБ…

…ЧЕМ БОЛЕЕ ОСОЗНАННО ЖЕСТКИМИ МЫ БУДЕМ СЕЙЧАС, ТЕМ МЕНЕЕ ПСИХОТИЧЕСКИ-ЖЕСТОКИМИ НАМ ПРИДЕТСЯ БЫТЬ В БУДУЩЕМ…

…476-ой ГОД С ПОСЛЕДОВАШИМИ ЗА НИМ ВЕКАМИ МРАКА НЕ ДОЛЖЕН ПОВТОРИТЬСЯ…

И вдруг он нестерпимо затосковал. Пальцы, тараторящие по клавиатуре, замедлили свое тараторенье. И стали… Собственно, что планировано на сегодня, сделано. Со статьей для Очень Большой Газеты он явно управится. А на похороны еще рано. Передохнем. А проповеди вообще подождут.

Велел подать себе машину.

Шоферу сказал: вот что, голубчик. Съездим-ка в детство.

В какое прикажете?

Да знаешь… Пожалуй, в осеннее…

В осеннее, так в осеннее. Сделаем!

И они поехали.

Там всегда осень. Осень и тоска. Ему захотелось тоски. Но не этой своей теперешней офисной, конторской тоски, а какой-то другой, освежающей, одухотворяющей, животворящей…

Здесь жили жадные, недобрые частники и милые, интеллигентные дачники. Дачники давно разъехались. Остались только частники. Сказав шоферу: «ну ладно, покеда», он вышел из машины и пошел вдоль дач.

Он шел и у з н а в а л . Такое же опьянение тоской, какое было тогда. Изморозь на траве с утра. Сейчас ее, правда, не было, день был в разгаре. Как он слонялся тогда среди пустынных дач, и какие-то видения оживали в нем, и мир двоился, троился из-за проступающих сквозь него видений.

Деревянные крашеные заборы. Вот, кратко брякнув цепью, где-то пошевелилась собака. Вот кто-то невидимый чистит, должно быть, картошку, он узнал полый, чуть дребезжащий звук упавшей в ведро очищенной картошины.

Пока он не замечен.

Но вот хозяин вышел на крыльцо, недоброжелательно его разглядывая. Пялился совершенно в открытую. И тут же завозилась, а потом вскочила и злобно залаяла на него собака. Он знал, что надолго остаться одному не удастся.

Эффект лавины.

Он шел в сплошном лае. Собачья канонада обрушивалась на него справа. Он шел мимо домов, и с каждым новым домом новый хозяин выходил на крыльцо, чтобы посмотреть, а это еще кто? и к предыдущим собакам присоединялась еще одна.

Черноплодная рябина везде. Веская гроздь черноплодной рябины. Как давно он не держал ее в руках! Взять бы в ладонь, почувствовать ее небольшую, но уверенную полновесность. Да нельзя. Чужая. Он шел мимо черной рябины, тоскуя от того что она так близка и так недостижима. Ладонь тосковала. На крыльцо вышел очередной хозяин - старуха, и, продолжая вытирать ладони о фартук, с близорукой зоркостью стала вглядываться в него. Старуха была старая, но

крепкая, добротная, простоит она еще столько же, сколько и этот деревянный крашеный дом - старость только лучше это подчеркивала. Он шел дальше. Очередная собака, устремившись к нему, ринулась на свою будку и гулко лупила лапами по ней, не переставая заходиться лаем. Она рвалась выдрать, выкорчевать с корнем цепь, чтобы настичь его и изорвать в клочья, но жестокие хозяева хорошо охраняли его, хороша была цепь, надежна, как все у них.

Человек – препятствие на пути к совершенству.

Да, нес бы я веру Христову! Но я один, что я могу один! Я опоздал. Я хотел бы примкнуть к вере и нести ее. Я рожден, чтобы носить чужое, но чужого не было, и пришлось нести свое. Но нельзя примкнуть к своему.

Христианство – самое прекрасное зло, которое изобретало человечество. Что-что, а христиане умели убивать! Они убьют какую-нибудь тысячу так, как какой-нибудь Гитлер не убьет и миллион. Жалкие кустари-подражатели, брали только нулями, а ноль – все равно ноль, неважно, где он стоит, до или после. Я верну злу его былую красоту! Я презираю кровавых бюрократов двадцатого века, которые всего лишь были жестоки, как средний обыватель, и везучи, как средний обыватель, выигравший «Волгу».

И он увидел самого себя.

Он увидел себя, одетого в какой-то немыслимый средневековый наряд. Он самый главный тут начальник, все обязаны ему подчиняться. И он говорит, громко, властно, и все его слышат: «Убивайте всех, Господь своих спознает». Клочья сажи летают в небе. Солнце светит тускло сквозь сажу и копоть, но по-прежнему нестерпимо для глаза. С ним юноша, его помощник. Он смотрит на его страдающее лицо. Он говорит юному помощнику: Не жалей их. Они поступили бы с нами точно так же. Все мы достойны костра. Что есть истина? Все мы одинаково достойны костра – вот что есть истина. И рано или поздно все мы будем гореть. Борьба идет за то, кому гореть сегодня, а кому завтра. Только ты никому не говори, что я

это тебе сказал: тогда попытаются сжечь меня самого, и мне придется сжечь тебя.

Что-то прокаркало в уши: Каркассон!

Учитель с указкой. Он на уроке истории. Часы на руке у учителя блестят так же холодно, как и его очки.

Он дошел до «жигуля», под которым кто-то возился. Почему-то он сробел идти дальше. Да и достаточно он уже прочувствовал. И он пошел назад той же дорогой, так же вызывая лай, только слева и в обратном порядке.

Сел в машину.

Что ж, вкусил, вкусил, сказал он, кривя рот, шоферу.

Теперь назад? спросил шофер.

Так точно, ответил он.

И они поехали. Машинально ехали назад в контору. Он не сразу сообразил, что на сегодня делать ему там нечего. Попросил шофера выбросить его на одной из площадей, относительно близко от собора, где состоятся похороны.

А вы как же, пешком? как-то даже испугался шофер.

Да. Разомну кости.

И вышел из машины.

Все. Нет меня. Я отключаю мобильник.

(Статью для Очень Большой Газеты он так и не дописал. Забыл).

2.ПРОЩАНИЕ

Он шел по проспекту, нарезанному вдоль тусклыми трамвайными линиями. Проспект был пуст. Серые, тоталитарно-величественные дома были стенами проспекта. Они не были построены из кирпича, или из камня; каждый из них был высечен из цельной скалы. Когда попадаешь на этот проспект, только видишь его, моментально хочется пить. Сохнут губы, глотка. Только среди ржавых, давно не используемых трамвайных путей было немного дикой, спутанной травы. Зеленая со-

седствовала с прошлогодней, высохшей. Проспект был пуст, только бабка брела впереди. Бабка согнулась каргой под грузом тяжелого мешка, который она несла на спине. Мешок был сер, а бабка была черна. Но так же сер был и ее платок. Он подумал, что у него кончаются наличные, подошел к банкомату и снял немного. Похороны начнутся часа через два. Так что у него пока было свободное время.

Он дошел до небольшого сквера и присел отдохнуть. Он вспомнил о доме отдыха, в котором он был вместе с матерью, о чесночном соусе, о клопоморе, попавшем в харчо, он лежал и блевал целый день, и не мог переносить чеснок с тех пор, все это напомнило ему о линии фронта через Гумисту, о страшных небритых сванах; о колючей проволоке, рвущей мясо. По комнате, где они тогда жили, бойко побежал членистый, весь из члеников, поблескивающий панцирем скорпион.

Ангелочки на соборе перед сквером казались ему нехороши. Что-то развратно-пухлое было в них. Столь их ранняя развращенность показалась ему омерзительной. Он встал и опять пошел. Мучительно хотелось пить. Свернул с проспекта при первой возможности.

Площадь с фонтаном. Он опять присел передохнуть. Что-то плохо ходилось сегодня. Самсон раздирал пасть льву. Изо рта льва прерывисто, конвульсивно прыскало, вызывая неприличные ассоциации. Самсон казался сделанным из округлых булыжников. Тени мягко подчеркивали рельефность. Лев с унылой покорностью раззявил пасть, как на приеме у ухогорлоноса. Вода напоминала о жажде. Он подумал, что «угоголонос» - имя древнего царя, жестокого завоевателя. Ухогорлоносор.

Он вспомнил, что здесь неподалеку есть кафе и направился туда. Свернул на знакомую улицу, самый короткий путь, но всю улицу заполонили пожилые мужики, одетые явно слишком тепло, распаренные, вытирающие лысины шарфами. Он пробирался сквозь них некоторое время и свернул в ближайший переулок.

Он увидел растянувшуюся по тротуару, шедшую под серой стеной, процессию туристов. Они норовили на ходу выстроиться в шеренгу по

два. Впереди них, на некотором расстоянии, шла экскурсоводша, неся на палке знак «7», обращенный к ним. Она несла его, как факел. Она молчала. Туристы тоже.

А вот с этим переулком ему повезло. Кафе, телевизор.

Он взял мандариновой воды и сел за столик. Одна стена была аквариумом, подсвеченным куинджиевским свечением. В аквариуме быстро, легко шмыгали чуткие рыбки. Они были прекрасны. Они были бабочками подводного царства. Отдохнуть душой на них. Продлись, продлись очарованье… Нет. Все. Я уже не вижу бабочек, я уже высосал их, и жадно ищу глазами, чтобы еще высосать, но ничего нет. Только эта вежливая, вышколенная буфетчица за стойкой. Настолько вышколенная и выхолощенная, что ее почти и нет. Сквозь нее можно видеть совершенно свободно. Бутылки наливаются винами за ней. Вина скапливаются и настаиваются в бутылках.

Скапливается и скапливается во мне отвращение, как грозовые тучи у горизонта. Сейчас что-то взорвется во мне, и я погибну, захлебнусь в потоке отвращения. Дерьмо из засорившегося унитаза, дерьмо, вспухлое, утоплое дерьмо моей души.

В какую такую игру играют эти рыбки? Как они носятся! Какая-то непонятная командная игра. Он всматривался в аквариум, чтобы постичь тайну этой игры, но тайна так и осталась тайной для него.

Через несколько столиков от него сидела дама под вуалью. Это была та самая дама, изображения которой висели в каждом доме, когда он был ребенком. Один раз она чуть приподняла вуаль, и он увидел родинку возле угла рта. Да, это та самая.

Из телевизора пел русый кудрявый розовый молодец. Красивый, похотливый голос, сдобренный нежным жирком. Что-то было *подлое* в его лице, голосе, во всем.

Еще здесь был красавец-брюнет в белой рубашке и черной жилетке. Глубокие порочные тени лежали под его печальными глазами.

А прямо перед ним была могучая спина. Мужика лет за пятьдесят с широкими покатыми плечами, в бесформенном свитере на

расплывшемся торсе, и эта бесформенность только лучше сообщала всем видящим его, сколько полезной мощи в этом еще не старом теле.

Он сидел, медленно пил мандариновую воду и думал.

Я вижу все черным. И я торгую чернотой. Я могу жить только питаясь страданиями других. Мне делается легче, только когда я вижу, что и других я ввергаю в отчаяние. Я — чумная крыса, порожденная нечистотами. Я кусаю других своими чумными зубами, потому что иначе эти зубы прорастут мне в мозг и убьют меня самого. Вот такая дилеммочка. Как же мне жить? Избавить мир от своего присутствия? Это было бы честнее всего, потому что живой я могу только паразитировать на чужих страданиях и разносить чуму.

Людям - горе, мне — барыш. Смуты, войны. Катастрофы внутри и вовне. А я только жирею от этого. Чем хуже для других, тем лучше для меня.

В детстве его часто не то что бы дразнили, но чуточку иногда прохаживались насчет его «упитанности». Но его почему-то выделил один, Грыжа, довольно-таки авторитетный человек, и просто шагу не давал пройти.

Грыжа был не из их двора. В тот двор надо сначала было идти вдоль путей, а потом по лесной, но заасфальтированной улице, дачи маячат из-за деревьев. Можно было туда и не ходить, но очень уж хорошо там было, если бы не проклятый Грыжа. Но тот был и старше, и крупнее. Он боялся Грыжу. А тот наглел все больше и больше.

Грыжа и еще кто-то, кажется, Парамон играли в шашки

что-то такое Грыжа сказал

и вдруг он понял, что теперь уже не боится Грыжу

и трахнул его доской со всей силы, доска разлетелась надвое, на одном гвоздике держалась, вышло неэффективно, но безошибочно, но надо все же было не этой легкой доской, Грыжа ринулся на него быком в красном свитере, и он моментально получил от него прямой в рыло

и он все махал руками, которые пропадали, которых уже не было почти, и все больше заполняла его огромная мысль о передышке, о

передышке секундной, любой ценой, но это значило сдаться, и вдруг его подхватило второе дыхание, не легких, не неизвестно чего, а второе дыхание ненависти, непослушания, упрямства, он почувствовал себя как на Луне, где все весит в шесть раз меньше, и он кинулся под ноги Грыже, схватил за ногу и оторвал ее от земли, продолжая бодать, Грыжа, оставшись на одной ноге, завалился, пытаясь увлечь и его, но он, вмиг сообразив, ляпнул тому в морду пятерней — кулак не было времени сжать — и мгновенно почувствовал ощущение слюней и соплей на ладони, и Грыжа его не держит, нога! он дал коленом что есть мочи тому в харю, уже на лету сумасшедше обрадовавшись, что не промажет, колено долетит, куда надо, брызнуло из расквашенного помидора, и Грыжа исчез, стал плоским, лежачим, он испытал идиотическую микросекундную эйфорию, что теперь можно его будет бить, бить, топтать и рвать, но тут же и мгновенную острую тоску, что это будет нарушением кодекса драки, но он запомнил навсегда, как нужно бороться со страхом, он запомнил это жуткое ощущение свободы — можно все, дай волю, не сдерживай, не думай, забудь о себе, и страх уйдет, и еще он навсегда запомнил эти слюни, сопли и слюни на ладони и ссадины от зубов на костяшках

Эта драка, помнится, сильно подняла его авторитет

Не дали добить. Не дали.

Зачем мне притворяться, что мне жалко Грыжу? Мне ведь его совершенно не жалко. Для чего мне претворяться, что я не хочу убить его? Я хочу. Я и убил бы, но меня посадят.

А кто я такой, чтобы судить? Но я и не сужу. Я просто убиваю того, кто мне не нравиться, вот и все. Судить — значит апеллировать к какой-то внешней норме, но мне не нужна никакая внешняя норма. Я просто убиваю, потому что так хочу. И совершенно понятно, почему хочу. Парамон мне нравится, и мне совершенно не хочется его убивать, а Грыжа мне ненавистен, поэтому я и хочу его убить. Тигр, говорят, раз отведавший живой крови, становится тигром-людоедом.

Тогда я впервые очень явственно расслышал: УБЕЙ СВОЕГО ВРАГА!

И я понял соблазн ненависти — она освобождает от страха. Любовь, если она сильна, освобождает от страха за себя, но не освобождает от страха за того, кого любишь. А вот с ненавистью все хорошо.

Страх — самое страшное. Ненависть освобождает от самого страшного.

ВЕЛИКОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ УБИЙСТВА…

И дальше так и пошла жизнь: схватка — отдых, схватка — отдых, схватка - отдых.

А на улице опять эти дома-скалы.

Пойти бы сейчас в мое другое детство, летнее. Деревянная платформа для электричек. Тепло дерева, такое живое, греет босые ноги. Прошел товарняк, везущий яркую, сверкающую на солнце щебенку…

Он зашел на кухню. Бабушка чистила картошку. Она тоненько пела. И чуточку покачивала головой. Она была не здесь. Даже про него, про своего внука забыла. Он стоял и смотрел на нее, уже не помня, зачем он сюда пришел. И вдруг его как крутануло, и он, не соображая, метнулся в свою комнату. Он запомнил старенький гребень в ее сухих волосах с седыми основаниями. Он стоял в середине своей комнаты и сглатывал комки в горле. Никак их было не сглотнуть, сразу набегал новый комок. И грыз руку, грыз. И краткие, конвульсивные вздохи через нос. Он не понимал, что с ним случилось. Что он такое увидел?

Подлец из телевизора наконец угомонился.

Хотелось еще посидеть.

Но надо было возвращаться. И он пошел туда, где лежал в гробу его брат.

Он подходил к стрельчатому собору по крупно мощеной площади. Здесь была празднично гуляющая, воскресная толпа голубей. Они ходили, похаживали, прохаживались, поклевывали. Христосовались. Вот прогуливается одинокая, интересно-задумчивая голубка. К ней подлетел бравый голубь в жилетке, с прямым пробором; подхватил ее под

руку. «Позвольте-с»! Голубка радостно улыбнулась, но тут же перевела радостную улыбку в томную. Он хмыкнул, увидев эту сцену. Впрочем, он привык к голубиным сценам. Собор был подперт с боков ребрами. Готическое плетеное блюдо над входом в собор.

Каменные мощи собора.

Он вошел. Было пусто, темно, холодно. На похороны никто не пришел. И он один стоял у гроба. Брат лежал в черном костюме. Он посмотрел на печальные витражи по обеим сторонам и начал.

Брат! сказал он. Я не знал, что ты умрешь, иначе я не допустил бы этого. Но я живой человек, и я не мог выносить твои вечно пьяные звонки и визиты. Я ненавидел тебя, потому что ты заставлял меня испытывать жалость к тебе, а еще я тебя презирал, презирал всей душой и всем сердцем. Я слушал твои пьяные исповеди. А ты ненавидел меня. Но смотри, никто не пришел на твои похороны. Ни родители, ни жена, никто. Я надел ради тебя этот обезьяний костюм с галстуком. То есть ради присутствующих. Но где они, эти присутствующие? Где твои кореша, где твои бабы?

Он понял, что он один, не перед кем представать в костюме, и вдруг осознал, что измучен своим галстуком. Он стал с ненавистью сдирать его. Но только туже затянул узел. Пытался выскользнуть из петли, просунув голову, но не смог. Дома ножницами срежу, решил он. И продолжал.

Благодарю твою жену, что она поссорила меня с тобой, и ты стал реже появляться. Но иногда ты ссорился с ней, и тогда жил у меня. Иногда и подолгу. Я это терпел. Скажи, кто бы еще терпел это? Никто. Но меня ты ненавидел, как ты не ненавидел никого. Разве что свою жену. Я не льстил тебе? Я тебя презирал? Но трудно скрыть презрение. Где-нибудь, да оно прорвется. Нельзя так много требовать от человека. А с корешей твоих и копейку не слупишь. Но они тебе льстили, а я нет. Этого ты не мог простить мне?

Не только меня. Ты никого не умел прощать. Никого. И ты решил лучше сдохнуть, но не прощать. Ты и умер, как жил. Неужели меня

нельзя было простить? Неужели поступки так-таки ничего и не стоят? Только чувства?

Он достал сигарету, щелкнул зажигалкой. Вспомнил, как ему рассказывали, что в храмах Божиих водятся летучие мыши, и он тотчас испугался, что они ринутся на огонь. Но никаких летучих мышей не было. Он посмотрел вверх, но не увидел ничего, даже сводов. Только густеющий сумрак, переходящий во мрак. Но здесь же, вроде, нельзя курить — то-то он и вспомнил про летучих мышей. Ну, нельзя, так и хрен с ними. Вытащенная сигарета не лезла назад в пачку. Положил ее в нагрудный карман рубашки.

Откашлялся, рыкнув, и продолжил:

Можешь быть доволен, ты меня достал! И до конца дней своих я не смогу забыть тебя и твою смерть. Ты получил, что хотел. И после смерти ты заставил меня возиться с тобой всю мою жизнь. Я один буду хранить тебя, ты будешь жить только во мне и умрешь вместе со мной. А твоя жена наверняка выйдет за этого. И забудет тебя. И твои кореша забудут тебя на следующий день. Только я один буду тебя помнить.

Он сообразил, что повторяется и смолк. Но что-то еще было, что надо было сказать. Но что именно, он не знал.

Внезапно как будто вспорхнула стая птиц. Он заозирался. Летучие мыши? Нет. Зазвучал голос брата, отдающийся средневековым эхом, эхом замка. Ах, вон оно что.

Не бойся, на этот раз надолго я тебя не задержу, сказал брат. И продолжил.

Мы начинали вместе, мы делали одно и то же, но тебе все сочувствуют, охают, везде ты жертва, а я делал всего лишь то же самое, что и ты, но меня втаптывают в грязь; даже когда узнали, что у тебя есть брат, сочувствовали тебе — не мне. И как ахали над твоим благородством по отношению ко мне!

Ты украл у меня жизнь. Ты показал мне это, втравил меня в это, я уже не хотел и не мог стать чем-нибудь иным. А потом ты

бросил меня. Сказал, выбирайся как хочешь. Как мне не ненавидеть тебя?

Что именно я тебе показал? спросил он у брата. Я ничего тебе не показывал.

Ну, как же не показывал? Твои знаменитые проблески и отсветы. Твои «идеи и призраки». Твое неприятие. Твои экстазы. Все, о чем ты столь успешно сейчас талдычишь. Если коротко — научил меня презирать жизнь и не дал ничего взамен.

Он ответил:

Я тоже прошел через чисто нигилистический период презрения к «обычной» жизни. Но я нашел *мою* жизнь. А ты не нашел. Вот и все. Я, по-твоему, в этом виноват?

Вдруг он почувствовал, как какое-то умиротворение, какая-то благостность снисходит на него. Какая это ерунда, о чем мы сейчас говорим… Ведь в последний же раз…

Брат, сказал он. Прости меня. Все время ты искал моего прощения, но теперь прости меня сам. Я не более чем человек. Ты считал меня богом, оттого и ненавидел меня. Но я не бог. Прости.

Да ладно уж, ответил брат, усмехнувшись.

Он усмехнулся сам, услышав эту усмешку брата. Всю благостность как рукой сняло. Зря я, как дурак, перед ним распинаюсь.

Ты в своем жанре, сказал он.

Да, я в своем жанре, ответил брат.

Они молчали. Что ж, как всегда, разговор кончился взаимной мучительной обидой. И даже смерть ничего тут не изменила.

Но он все-таки не хотел расставаться так. Тем более, навсегда. Он ответил брату:

Это ты возвел в меня в сан бога, не я. Я не просил тебя об этом. Ты все время искал моего одобрения, и меня же ненавидел за то, что не мог без моего одобрения обойтись. Ты ненавидел меня, как наркоман ненавидит героин, без которого не может жить. Но это ты, ты, а не я сделал меня своим героином. Тебе все время нужно было отпущение грехов от меня. Я тебе говорил, и не раз: какая

тебе разница, что я о тебе думаю? Но ты не мог жить без моей санкции, ты паразитировал на мне, и презирал себя за это, а меня ненавидел. В общем, скажи спасибо самому себе.

Брат ответил, помолчав:

Ты же знаешь, как действуешь на людей. На самом деле все ищут твоего одобрения, не только я.

Он перебил:

Какие еще «все»? Не все, а лишь кое-кто. Да и вообще – «ищут» - это не…

Теперь перебил брат.

Ну, как же. Этих «кое-кого» очень порядочно. Уже восемь лет, как ты пророк №1, по всем трем главным рейтингам. А пророк №2 отстает от тебя на десятки пунктов, несмотря на огромные бабки, которые в него вложили.

Он хмыкнул:

Я им говорил: только зря деньги переводите на это ничтожество. Он принципиально нераскручиваемый.

Он помолчал. И не удержался:

И этот тип еще имеет наглость называть себя пророком!..

Он как-то даже забыл про брата, думая, что бы еще сказать о пророке №2. Про успешное «Аутодафе», которое вполне может стать истинным №2, он не стал говорить. Брат с интересом наблюдал за ним из гроба. И сказал ему:

Приятно слышать отзыв профессионала о своем коллеге. Извини, что отвлекаю от главного, но в этом ты как-нибудь сам разберешься.

Так вот, я – твой брат. Ты же знаешь о своей силе, о своей власти над людьми. Ты же человек феноменальной силы. И, зная это, неужели тебе было трудно быть снисходительным? Нет, ты хотел причинять боль. Только так ты мог осознавать свою власть - причиняя боль другим. Ты бы мучил всех, если бы мог. Ты немножко и мучаешь, насколько можешь. Ты бы хотел, чтобы все люди стали братьями. Вот твоя глубинная мечта. Поэтому-то ты и один. И всегда будешь один. Ты говоришь, что ты одинок. И это действительно так. Почему, спра-

шивается? Ведь ты окружен людьми. Да потому, что рабовладелец всегда один! Рабы — не люди. А для тебя любой человек — потенциальный раб, только в этом качестве он тебе и интересен. Поэтому тебе никогда не выбраться из одиночества. Одиночество — твое вечное проклятье. А двоих, со мной троих, ты уничтожил. Ты знаешь, о ком я говорю. Одного нет совсем, другой пока еще бродит. Но его уже тоже нет, как не было меня. Как смешно, что именно ты говоришь о прощении… Бедняжка, - тебя, несчастного, никто не любит! А ты так страстно жаждешь любви! Но ты же сам и делаешь любовь к себе невозможной. В последний момент ты всегда предпочитаешь любви власть. Если человек, наслушавшись тебя, начинает думать, - нет, чувствовать, - как ты, — то это значит, что ты возымел над ним власть. Власти над душами — вот чего ты добиваешься. Тебя нельзя любить, тебе можно только поклоняться. А кому поклоняются — того не любят. Впрочем, может быть, в каком-то смысле и любят — говорят же о «любви к богу». Но, во всяком случае, бога не любят так, как любят человека. Ведь даже своих друзей, которые по началу всего лишь любили тебя, ты превратил в своих поклонников, а стало быть, более тебя не любящих. Старался, и добился своего, превратил. И остался один.

Покороче нельзя? сказал он.

Брат не услышал.

А каким ты был раньше! Для немногих, кто видел тебя тогдашнего. Когда мы еще собирались кружками по разным квартирам, «как первые христиане» - мы тогда так острили. Сколько было этих квартир… Ты действительно был враг всякой пошлости, вранья… Какая благородная, так сказать, надмирность! Гимны вечным идеалам красоты, истины и добра! Протест против буржуазной действительности, обезличивающей Человека! Против лицемерия. Против ханжества. Возвышение над суетностью нашего мира! И ты был добр тогда. Да, добр. Это простое слово очень хорошо тебя характеризовало! Твои первые проповеди тиражом сто экземпляров. Этакий отрок, взыскующий истины. Юноша бледный со взором горящим…

Он слушал.

Вдруг брат ляпнул:

Удивительно, в какого выродка ты превратился!

Он аж дернулся. Такого он не ожидал. Но браво, без тени растерянности среагировал на «выродка».

Ого! Ну, однако, ты и взял ноту! Расквитаться хочешь напоследок?

Брат начал говорить, но он перебил.

Чем же я выродок? А свою «надмирность» запхай себе в жопу.

Это как понимать?

Да так и понимай. Запхай ее себе в жопу. А теперь послушай исповедь выродка.

Да, я слушаю исповедь выродка! Внимаю!

Да, ты слушаешь исповедь выродка. Вот она.

Глупышка, ты не понял. Ты остановился на неприятии «толпы», или «безличного», или назови, как хочешь. А я пошел дальше… Но об этом позже. Как и ты, я называл себя «романтиком», протестовал, дескать, против «обезличивающей буржуазной действительности». Я, смешно сказать, действительно так думал. Что за чушь! Какая бывает действительность, кроме обезличивающей? Действительность на то и действительность, чтобы обезличивать. Первобытная, крестьянская, феодальная, цеховая, либерально-буржуазная, современная тоталитарная, город-государство, черта в ступе — все эти действительности стоили одна другую. Все эти действительности обезличивали. Хотя, конечно, современную «буржуазность» я ненавижу больше — коммунистическую буржуазность, капиталистическую буржуазность, националистическую буржуазность, «левую», «правую» - но это просто потому, что они мне надоели, а других - тоже, ясное дело, «буржуазностей» - я не видел («рыцарская буржуазность», «крестьянская буржуазность», «монашеская буржуазность» и т.д.).

Были люди, которые говорили, что наша жизнь настолько плоха, что хуже не бывает. Они убеждали всех, что жизнь невыносима. И *для них* это было действительно так. Им было ничего не жалко. Они

знали, что все равно погибнут, но им не хотелось гибнуть в одиночку, они хотели забрать как можно больше с собой, а лучше бы — весь мир. Конечно, они не говорили об этом вслух, часто они и сами не знали об этом. Слишком многие поверили им. Кончалось все это кровавыми смутами, и оказывалось, что жизнь стала еще невыносимее. Этих людей называли великими, пророками. И я захотел стать одним из них. Эти люди убеждали других и себя, что они оказывают человечеству огромную услугу, что они делают мир лучше, - *открывают ему глаза*, *торят ему дорогу* - но они не делали мир лучше, они просто МСТИЛИ ему, более того, они желали разрушить его, обратить свой личный внутренний ад во внешний, всеобщий. И я начал мстить, убеждая себя и других, что я великий страдалец, мученик за человечество. Но на самом деле я хотел разрушить этот мир в отместку за то, как он со мной обошелся. Как он со мной обошелся? Да так же, как и со всеми. Ничуть не хуже. Но мне было мало. Я считал, что МНЕ положено больше. В два, в сто, в миллион, в бесконечное число раз больше.

Отношения с отцом, который иногда символически меня лупил? Вздор. Это первобытный фрейдизм девятисотых годов, хотя, в силу неведомых мне причин, для многих и многих он до сих пор остается последним словом науки, через сто лет после своего возникновения. Это так, в скобках.

И я сказал миру:

ТЫ БУДЕШЬ ТАКИМ, КАКИМ Я ЗАХОЧУ. А ЕСЛИ НЕТ - ПУСТЬ ТЕБЯ НЕ БУДЕТ ВОВСЕ.

Конечно, ха-ха, мир меня не послушался. Почему, ты думаешь, я так свирепею, когда поезд опаздывает на три минуты, когда мне подают холодный кофе, когда я ударяюсь локтем об угол? Я не настолько мелочен. Но это — не мелочи; все это маленькие, малюсенькие напоминания о моем безмерном бессилии перед ним, перед этим миром.

В общем, так или иначе, именно слово «месть» определяло мои эмоции абсолютно точно. А это главное.

И я начал мстить.

Надо отдать мне должное – долгое время я искренне верил, что делаю нечто хорошее. Хоть я и говорил о плохом, грязном, страшном, - но, как мне тогда казалось, в педагогических целях – пусть, мол, люди увидят и ужаснутся. Это будет импульсом для них стать лучше. И я верил в то, что говорил. И верил, что мои намерения действительно таковы. Я и в самом деле хорошо чувствовал зло мира и страдал от него. Да и жечь глаголом сердца, притворяясь, не выйдет, - раскусят в миг.

Но - потом я собирался перейти, так сказать, к позитивной части.

И понял, что ее у меня нет. Отвращение и ненависть не только к тому, что есть, но и ко всему, что еще только *может* быть, отвращение *заранее* – это все, чем я обладаю.

Это одно. А вот другое: война – это единственное, что я по-настоящему не презираю в жизни. И люди, достойные в моих глазах так называться, – это воины. Я думал что веду войну, которая должна покончить с войнами, но оказалось, что я презираю все, что не война. Поэтому лучше бы мне никогда не побеждать.

Вот ты сказал: «ты был добрым». Нет. Добрым я никогда не был, хотя долгое время хотел считать себя таковым и даже действительно считал. Я не был добрым. Я всегда был злобным и мстительным. Это еще одно, что я понял про себя. Чего тогда притворяться? Чего ради? Стать одним из тех, кто проповедует вроде бы доброе, а из самого злоба хлещет, как… Да вон, что далеко ходить – был такой Тартюф Михайлович… Да и не только он…

Он задохнулся.

Еле выговорил:

Мы же животные. Интонацию мы понимаем раньше слов. Передо мной стоял выбор: либо быть злым и лживым, либо просто злым. Подожди…

Надо было перевести дух. Он стоял и переводил. Брат весьма кстати молчал, что-то, видимо, сообразив.

Самообладание к нему вернулось. Он заговорил опять.

С кем воевать мне, когда настанет мое царство, царство, которое, как мне казалось, я приближаю? Мне не будет места в моем же царстве. Вот так…

Мои защитники оправдывают меня тем, что я говорю то, что говорю, потому что я очень ранимый, чувствительный ко всякому лицемерию, ко лжи. Я же еще и хороший. Мне смешно их слушать. Где вы видели вещь на земле, которая была бы полностью свободна от лжи? Но это не значит, что все – ложь. А я не вижу правды, потому что не хочу ее видеть, везде я хочу найти ложь, и, естественно, легко нахожу, в силу вышесказанного. Мир плох, но не настолько плох, *как бы мне хотелось, чтобы он был плох*.

Значит, так я и додумался, что просто мщу. И я больше не притворяюсь, что действую во имя каких-то высоких и благородных целей. Разве чуть-чуть, самую малость только, приличья ради. Теперь я просто тешу свою злобу. Бесконечную, ненасытную свою злобу. Которая, конечно, только распаляется с каждым новым разом…

…И все безумнее, все исступленнее, все отвратительнее, все бесстыднее… И все не достичь мне какого-то дна. Дна жестокости, бесстыдства, отвратительности, припадочности, патологизма. Я хочу, жажду дотянуться до абсолютного дна, каждый раз оно вроде бы близко, но… Но недосягаемо. А народу нравится. Мой рейтинг растет. У меня куча защитников. И куча ненавистников. Я могу сделать так, чтобы толпы дрались из-за меня.

Мои поклонники любят меня, потому что я такой же, как они, я один из них, я плоть от плоти их. Разве только чуточку смелее, откровеннее, бесстыднее, последовательнее. Может быть, умнее. И я хочу их не возвысить, но – вознизить, чтобы они с еще большим комфортом развалились в своем собственном дерьме, в дерьме собственного мозга. И, конечно же, - страх, король страх, страх, подлинный властитель этого мира. Никто до меня по-настоящему не понимал, что такое страх. Никто не погружался в бездну страха так глубоко, как погружался я. Пардон, отвлекся.

Я принимаю крестную муку за всю страдающую, бездарную и забитую сволочь этого мира.

Мои проповеди — мои шедевры. Пусть я увеличиваю количество зла в мире, но зато я с у щ е с т в у ю! Я — е с т ь. Не добром, так злом.

Часто, правда, мои поклонники не столько плохи, сколько больны. «Духовно больны», если угодно. Но я не помогаю им выздороветь. Я делаю их еще больнее. И, следовательно, хуже.

Возвращаясь к истокам. Как ты помнишь, я начал с неприятия, как и ты. Но потом мне этого самого неприятия стало мало. Точнее, я понял, что обречен жить в том единственном мире, в котором живут все. Что нет и не будет специального мира для меня. Может быть, когда-то я думал, что я в состоянии создать его — мир для себя. Нет. Увы, нет. И я послал к чертовой матери свою «надмирность». И, послав ее, я понял, что, в сущности, ничего не имею против ИХ правил, при том условии, что я буду начальником. Я хочу ПОВЕЛЕВАТЬ ими. Я стал жечь глаголом их сердца изо всей мочи, потому что для меня это — единственный способ достичь ВЛАСТИ над ними.

Впрочем, повторю еще раз, власть — не мой единственный мотив. Да и пророк, мечтающий исключительно о власти, успеха не добьется. У пророка должна быть своя доля бескорыстия. У меня она была. У меня было свое содержание. Я бесновался в своей болезни и в своем экстазе, раньше я делал это для самого себя, потом для некоторых, а потом - для всех, и все современные средства коммуникации были в моем распоряжении. Душой, что называется, я не кривил — не пытался угадать, что понравится публике. Я был честен. Мое уродство и мою честность оценили по достоинству.

А можно и так. Мои проповеди — это на самом деле проклятия. Проклясть мир — вот что я хочу. Люди, несущие в душе ад, не могут как следует проклясть мир — и поэтому вступают в фашистские партии, только поступком они могут выразить свое проклятие ему. Поступок-проклятие. Я же могу проклясть и словом, но все мне не нащупать самого главного проклятия. Все выходит слабо, недоста-

точно. Так я и проклинаю мир от одной проповеди к другой, но все мне мало, все мало… Люди слушают меня, и соучаствуют во всем в этом со мной. Им тоже все мало.

Детство погибло, - а значит все дозволено. Детства нет и не будет, нет смысла за него цепляться, а значит, - делай что хочешь. Какая теперь разница… Все равно вечный ад уже заработан. А жизнь вечная у нас у всех была, и имя ей – детство. Меня насильно сделали взрослым и заставили жить среди взрослых. Мне оставалось либо погибнуть, либо жить по новым правилам. Я выбрал жизнь. Это значило, что мне нужно было разменять свое детство на пятаки. Ну а раз так, то я хочу, чтобы это было много пятаков. Много-много пятаков. И я их получил. Я хорошо продал все, что имел. И еще продам.

Вы хотите, чтобы я не был «инфантильным»? Окей, не буду. Но вот только потом не обижайтесь. Я вас честно предупредил. За свое детство я возьму хорошую цену. С в а с возьму.

Зло, радостно он добавил:

Не буди инфантильного. Не обрадуешься потом. Он быстро выучит ваши простенькие взрослые правила и по-взрослому поставит вас раком. И вы, такие взрослые и умные, будете покорно стоять. А он играть в вас. Ребенок же!

Отдышался слегка и сказал как можно более буднично:

Вот тебе исповедь ублюдка.

Выродка, поправил брат.

Ах, да. Выродка.

И он рассмеялся как можно более издевательски, как всегда, одним животом.

Ты предатель, спокойно сказал брат.

Да, я – предатель. Но не думай, что ты лучше. Ты гордишься своей девственностью, своим неучастием, но твое неучастие – от трусости. Жажда власти есть во всех, но вы просто струсили бороться за нее, льстя себе тем, что вы, якобы, выше этого. Никто не выше власти. Нет таких людей.

Он продолжал.

Я не прочь стать папой некой новой церкви. Я опоздал лет на тысячи полторы-две; я читаю святых отцов и вижу, что они такие же, как я, но им повезло родиться в то время. Мне не повезло. Что ж, раз такое дело, я не прочь стать новым Геббельсом при некоем новом суверене. Но нового Бонапарта нет, - если они вообще когда-то были. Наполеон Первый-то был, но был ли Наполеон? При моем эстетстве никакой реальной диктатор меня не устроит, даже если я стану при нем Геббельсом, лижущим его плевки. Я бы лизал и плевки, но не у этого же болвана, воняющего голенищами.

Геббельсом, подумал он. И вспомнил свое утреннее «каждого найду», Варшавское гетто. Когда он был искренен? Получалось, что и тогда, и сейчас. Продолжил говорить, как выученное наизусть:

Поэтому демократическое общество – вот моя стихия. Как ни противна мне толпа, все-таки я могу слушать Веберна, не спрашивая ни у кого дозволения.

Итак – либеральная демократия, либеральная демократия, и еще раз либеральная демократия. Мне отвратительна власть посредственности, и я стремлюсь уничтожить современное общество, но я не настолько глуп, чтобы желать себе победы. Что ж, мне известны некоторые мои коллеги, в которых я даже не знаю чего больше – ненависти или глупости, они, похоже, действительно испытывают самоубийственную жажду таки срубить сук, на котором сидят.

Я рассказал тебе это, потому что знаю, что ты уже никому не расскажешь.

Он замолчал, все сказав, но, неожиданно для себя, вдруг начал с новой силой.

Нет, лучше Гитлер, лучше ЧК, чем вот это все…

Что «вот это все»?

Да все вот это.

И он неопределенно поводил руками по сторонам, даже неопределенностью своего жеста давая понять, как он презирает неопределенное, никакое «это все».

Да, классная жизнь. Живешь, чтобы «оплачивать счета», - точнее, омерзительное американское «to pay the bills». Ссуда на свое главное сокровище - дом. Точнее, американское «mortgage». Еще обожаю слово «paycheck». Американцы, как известно, мастера по части эстетики бездарного…

Его действительно передернуло от этого «paycheck». Чуть не сплюнул, но вспомнил, где находится.

Так вот.

ЛУЧШЕ ГИТЛЕР, ЛУЧШЕ ЧК, ЧЕМ ЭТА ПОГАНЬ!

Он почувствовал, как ненависть разливается в нем. Че это я? вяло подумал он откуда-то сбоку. Но ненависть разливалась все шире. Сейчас пена изо рта попрет…

Взяв себя в руки, он сказал:

Зачем так жить? Лучше никак, чем так.

А ты кого-то спрашивал?

Увы, планета на всех одна. Я делаю так, как лучше мне. Пусть кто угодно делает так, как лучше ему. А там посмотрим, что из этого выйдет.

Н-да, сказал, усмехнувшись, брат. Сочувствую. Но ты же как-то, помню, сказал, что тысячелетний рейх - это такая же скучища, как и демократия? «Буржуазность», как ты выражаешься.

Сказал.

Ну и как же быть?

А никак не быть. Выхода нет.

И добавил:

Ты, кстати, помнишь, что я только что сказал о своем отношении к либеральной демократии. Я являюсь ее сторонником.

Любопытно, сказал брат. Весьма, весьма любопытно. Но вот только как же твой новый суверен с новой церковью? Получится ведь опять «буржуазность».

Получится. И в это я не верю. Может, верил когда-то…

Молчание.

Брат, опять:

А скажи, тебе не стыдно признаваться во всем этом?

Стыдно? Чего в этом стыдного? Есть единственная вещь, которой я стыжусь.

Какая же?

Я стыжусь того, что не убил своего отца, когда мне было три года.

Тишина. Напряженная.

Скажи, ты не боишься самого себя? Не ужасаешься на самого себя?

Он вздохнул.

Чего мне ужасаться? Я же не сын пастора. И ты прекрасно понимаешь, что плохо — это не то, что плохо. Плохо — это то, что стыдно. Стерпеть — стыдно. Убить — не стыдно.

Н-н-да… сказал брат. Ну да черт с ним. Ты не помнишь, о чем я говорил?

Ты только что выслушал исповедь выродка.

Ах, да.

Он опять молчал. Брат тоже. Потом брат заговорил:

Скажи, неужели и вправду, для тебя жизнь — это война?

Он не сразу ответил.

Да.

А вообще, бывают какие-либо добродетели, кроме воинских?

Он подумал.

Нет.

А если человек плохой солдат, то никакими другими достоинствами он этого не искупит?

Никакими.

Брат молчал. Потом спросил:

А сосед Васька? К нему ты относился явно лучше, чем ко мне.

Васька — не человек. Ты меня спрашивал про людей. А к Ваське и к прочей живности я отношусь хорошо. Как ты помнишь, я люблю животных. Они меня умиляют.

Так, может быть, ты лучше и меня запихал бы в живность? А? Может быть, так было бы для меня лучше, как ты считаешь?!

Это не от меня зависит. Ты человек. Я тут ни при чем.

Что ж, спасибо, что хоть меня признал человеком… А Васька, значит, не человек… По-моему Васька-то как раз человек, хотя и довольно ничтожный, а нечеловек — это ты!

Да, я идол с острова Пасхи. Ты часто пользовался этим сравнением.

Человек — это нечто несовершенное, греховное… А ты…

Он перебил:

У меня масса недостатков. Но среди них нет привычки мазать своего ближнего соплями и рыгать ему перегаром в лицо, как только тебе показалось, что улыбка Фортуны сузилась на один миллиметр. И вообще — хватит, может, причитать?

Но брат не слушал.

Человек для тебя — носитель мироощущения, которое ты, льстя себе, называешь трагическим. Сначала ты ввергаешь людей в отчаяние, доказывая, что только отчаяние делает человека человеком, и тогда они, совершенно дурея, обращаются к тебе. Ты искусственно делаешь себя нужным. Ну а потом ты помогаешь им это отчаяние преодолеть, и здесь ты искренен, ты работаешь на совесть. А если человек не испытывал отчаяния, просто жил себе, ты объявляешь его нечеловеком.

Ему стало скучно. Он ответил:

Во-первых, почему «льстя»? Если трагическое мироощущение льстит, то не я это придумал.

Во-вторых. Об отчаянии. Да, я считаю, что тот не человек, кто не прошел штрафную полосу отчаяния.

А ты воскрес, что ли?

После паузы он ответил.

Во всяком случае, я не дал отчаянию поглотить меня. Дай договорить. Далее. Мы уже пошли по второму кругу, но могу повторить. Вот что, если угодно, я думаю о человеке. Есть

человеческое животное, и есть Дух. Слабоумный – человеческое животное. Такие, как я – Дух. И только так называемый «нормальный человек» - ни то, ни другое. К слабоумным я отношусь мистически. Они говорят нам какую-то важную правду о нас. То же могу сказать и про обезьян. Сквозь Дух что-то в и д н о. Что-то в и д н о сквозь слабоумного. И только сквозь «нормального человека» ни черта не видно, как сквозь забрызганное грязью стекло.

Кстати, ты, пока еще не пропил человеческий облик, тоже был Дух. Поэтому я презираю тебя как дезертира.

Брат все наезжал, но уже с некоторой, чувствовалось, усталостью:

С твоей манией власти тебе бы в политику идти.

Политической власти сейчас нет. Нет больше такого понятия как «политическая власть». Кто хочет власти, не в политики идет. Он идет в пророки. Как я.

Как это: «политической власти сейчас нет»?

Так это. Президент – это что, власть? Провел свой закон, откупившись двумя портфелями, или что-то вроде того. Какая же это власть? Другое дело, например, на пиру – отрубить ему голову! И все, волокут уже. Человека, который пять минут назад был человеком №2. *Это* – власть.

Брат усмехнулся. Ему было занятно. Потом сказал:

Ну, такой власти и у тебя нет.

Нет. Но избавиться от меня все же труднее, чем от президента.

Немного подумав, он, неожиданно для себя, возвысил голос, зачеканил:

СТАТЬ ОБЪЕКТОМ ПОКЛОНЕНИЯ – ЭТО ДЛЯ МЕНЯ И ЕСТЬ ВЫСШАЯ ФОРМА ВЛАСТИ. И я многого достиг в этом направлении. И достигну еще большего.

Ну да, об этом я и говорил, скучно сказал брат.

Брат думал, похоже, не зная, что еще сказать. Свернул опять на себя:

Допустим, ты прав насчет меня, но я совершенно не слышу боли в твоих словах? Разве можно говорить все это так спокойно?

Не слышишь боли? И не услышишь. Ты слышал, чтобы я тебе жаловался? А ты знаешь, каково мне? Так вот, я не жалуюсь, но и мне жаловаться не надо. Не пойму.

Он чувствовал, как у него уже раздуваются ноздри. Ярость — средство, всегда действующее безотказно. Подействовало оно и сейчас.

Брат что-то пробормотал.

Что? спросил он.

Ты превратился в зверя. В зверя войны.

Я хотел, чтобы ты был сильным, сильным, понимаешь?!! И он грохнул кулаком о край гроба. Никто тебе не поможет, только твоя собственная сила поможет тебе! А ты все цеплялся за людей, цеплялся за меня, цеплялся за свою мерзкую бабу! Цеплялся за водку и за других баб!

Брат весело расхохотался.

Он стоял, ждал. Сейчас брат скажет, чего это ему стало так весело.

Брат сказал:

Кстати, о бабах. Тебя не любит ни одна баба. И ты заказываешь дорогостоящих шлюх. То-то шлюхи у тебя пошли все такие красивые. Раньше были попроще, сбившиеся с пути пэтэушницы, начинающие алкашки и прочие в этом роде. Действительно - кто такому даст без денег?

Он слушал, что говорил брат. Он знал, что все это правда.

Кстати, правду про тебя рассказывают, что ты трахал малолетку и как плату поставлял ей наркотики?

Где ты это вычитал? Ты же, вроде, газет не читаешь?

Брат не услышал. Он продолжал допытываться:

А что плохого в траханьи малолетки? От наркомании ты ее все равно не избавишь, а так она по крайней мере ничего не украдет.

Если рассуждать исключительно в терминах последствий, как это тебе свойственно, то это даже хорошо.

Вот что, дорогой покойничек, никакой малолетки я не трахал!

О, как взвился! Называется — пророк. Да знаю, знаю, не трахал…

«Кто такому даст без денег». Брат говорил это с удовольствием, даже чересчур поспешно, но к концу, похоже, все-таки ему сделалось не совсем ловко.

Продолжай, сказал он.

Спасибо, что милостиво разрешаешь мне сделать это. Брат слегка рассердился на себя за то, что ему стало неловко, и теперь наверстывал. Он продолжал:

Сейчас, конечно, есть и такие, которые не прочь затащить тебя в постель, но ты говоришь, что предпочитаешь честных шлюх. А все любви твои — несчастные. Ты говоришь, что не жалуешься; в целом это верно, но иногда и сквозь тебя прорывается. Вечно ты в несчастных любвях. А ведь я тебя знаю — ты не можешь не влюбляться. Влюбляешься в каждую третью. И все время — хрен на рыло! Хоть бы один раз, для разнообразия!

Брат упивался. Он разливался соловьем, он даже забыл, что умер.

Какой нормальной бабе ты нужен? Тебя они сторонятся, как чумы. И ни твои деньги, ни твое постоянное мелькание по телевизору не помогают. Да и не только бабы, тебя никто не любит. Разве что неохотно уважают…

Пока брат переводил дух, он думал.

Я такой, потому что меня никто никогда не любил? Расхожее объяснение. Вздор. Любили меня многие. Очень даже. Тот же отец — он ведь до безумия меня любил. Мать, разумеется. Брат. Друзья, когда они были. Бабы? Так ведь и кое-какие бабы были когда-то. Давно. И они любили меня.

И было мне от всей этой совокупной любви ни тепло, ни холодно.

Он не стал говорить брату ничего из этого, тем более брат и так знал. Если говорить о состоянии дел на сегодняшний день, все, что говорит брат — правда.

Сказал он другое.

Что ж, извечное утешение ничтожеств. Зато, мол, меня бабы любят. Киношная ситуация.

Это не утешение. Это — индикатор.

Ну, индикатор, так индикатор…

Но брат вдруг сделал обсуждение более глобальным:

Скажи честно, ты бы хотел оттрахать всех баб в мире?

Да.

Ты страдаешь оттого что не можешь?

Да.

Он молчал.

Брат, видимо, хотел продолжить, но он не ожидал услышать в ответ эти безусловные «да» и смолк как-то обескураженно.

Повисла пауза.

Он нарушил ее:

Насчет баб это ты хорошо, в самую точку. Я оценил. Хотя ты приписал мне некий демонизм — «как от чумы» и невольно польстил мне. Опять «польстил» - ха-ха! Но давай сойдем с этой приятной для тебя темы.

И неприятной для тебя.

Да, да. Лучше вернемся к нашей старой теме.

Он почувствовал, что брат задумался.

Минуточку, сказал брат. Баб действительно к черту. Ты говорил о силе. Так значит: «Муки отступят перед моей гордыней», или как там было?

Он вздохнул. Потом усмехнулся.

Да нет… Это уже давно не моя цитата. Моя вот какая:

Я гордость под исподнее упрятал,
Видал как пятки лижут гордецы.

Хриплый пел, пояснил он.

Какая, к черту, гордыня. Слишком много я о себе знаю. Не по моему карману.

Ну, ты к себе слишком суров. И на твою долю кое-что пришлось, и ты…

Одна тысячная того, что могло бы прийтись, перебил он и махнул рукой.

Брат тоже замолчал, как будто вдруг случайно подумав о чем-то другом.

Ты знаешь, тут же объяснил он, я вдруг подумал: христиане больше всего ненавидели в человеке грех, а ты больше всего ненавидишь в человеке слабость.

Верно, удивился он. Признаться, мне несколько завидно, что это ты сказал, а не я.

Я всегда был способный парень, шутливо сказал брат.

Был, ответил он серьезно, даже не без нажима.

И оба замолчали.

Почему он вспомнил о нем сейчас?

Был такой дядя Валя. Пожилой, старый алкаш с висячими седыми лохмами. Дядя Валя жил несколько поодаль, с краю, вместе со своей подругой тетей Зиной, такой же алкашкой.

Дядю Валю все, конечно, машинально презирали, заодно с такими же, как он. Конечно, как и все дети, он прекрасно чувствовал отношение взрослых. Но сам этого отношения не разделял. Или не совсем разделял.

Дядя Валя был обыкновенный резонирующий алкаш. Он был мал тогда, но уже успел узнать этот тип. Он и сам не понимал, почему он был способен буквально часами слушать дяди Валины разглагольствовния. Дяде Вале поговорить было особенно не с кем, взрослые его не слушали, да и дети не особенно церемонились с ним, несмотря на его статус взрослого. Конечно, оставалась обычная компания алкашей, но дяде Вале, как всякому резонеру, были постоянно нужны новые уши, а почтительно внимающие уши — тем более, поэтому он и тянулся к детям, да и вообще, наверно, любому

взрослому хочется порой попоучать детей. И он оказался для дяди Вали просто кладом, слушающим безотказно.

Бывало:

«Жизнь, она, знаешь… разная бывает». Или, со вздохом: «Вот, знаешь, посмотришь так иногда»… «Сядешь вот так иногда, задумаешься»… «То одно бывает… А потом, глядишь, и другое уже»…

А что было дальше? Невозможно было запомнить. Абсолютная какая-то труха. Запомнить было невозможно, разве на диктофон записать.

Но он слушал.

Что он слышал в этой пьяной, претенциозной белиберде, состоящей из глубокомысленных вздохов и многообещающих вводных слов? Что-то просвечивало ему сквозь нее, непонятно что.

Он уважал взрослых, когда был маленьким. Слушал каждое их слово. И, став взрослым сам, так и не смог им простить, что они так долго обманывали его. Скрывали, насколько сложен, многозначен, противоречив мир вокруг; их-то послушать — так все просто. Их только слушайся.

Но, самым парадоксальным образом, параллельно с верой в общие взрослые слова, в общую жизнь, в нем существовал глубочайший нигилизм по отношению к ним, не только к ним, ко всему н о р м а л ь н о м у миру вообще. Если и могло что-то о т к р ы т ь с я , так это из чего-то маргинального, полузапретного, изгоняемого…

Потом ему доводилось читать что-то похожее в разных книгах. Не только это; часто, к его удивлению, он наталкивался в книгах на вещи, которые уже смутно бродили в нем, взявшись неизвестно откуда.

В этом же случае он даже подумывал, что бывают люди, которые ждут появления некой и с т и н ы в чем-то очевидном, простом, а некоторые почему-то могут поверить в нее, если только она с трудом проталкивается, протискивается к ним из каких-то экзотических источников, как некий дефицит.

И в дяди Валиных вдохновенных бормотаниях он, как будто, если не обнаруживал, то, по крайней мере, надеялся обнаружить, расшифровать что-то… Что сокрыто ото всех.

Иногда, когда дядя Валя вполне уже основательно надирался, он принимался петь. Для пьяного он пел удивительно недурно. Не фальшивил и не горланил пьяно. Почему-то ему запала одна песня, из которой он запомнил две строчки. Как-то так. Как слышал.

И в дорогу далэку
Ты мене на зори провожала…

Дядя Валя сидел где-нибудь на естественной «завалинке» в еще неглубоком, полуокультуренном лесу, а он сидел перед ним или валялся на траве.

В последний раз, когда он там был, - приехал по какому-то незначительному поводу, - он, совершенно неожиданно, наткнулся на дядю Валю, которого почему-то не думал не гадал встретить, хотя времени прошло не так много, и вряд ли дядя Валя мог куда-то деться. Он куда-то спешил и совершенно неожиданно на него наткнулся, неожиданно и некстати. Дядя Валя стоял остолбеневший, пьяный в полный драбадан, остолбеневший, парализованный последним своим градусом. Как всегда, багровая харя, выпученные бессмысленные глаза, свисающие седые лохмы; то состояние, когда дядя Валя и говорить не мог. А он в то время позабыл дядю Валю окончательно и бесповоротно, вместе со всем своим огромным ранним детством, окружающим такого маленького его. Детство вернется позже… А тогда он был взрослым и очень молодым. Ну так вот, он, изобразив любезненькую улыбочку, думал уже проскочить мимо, обрадовавшись мимоходом, что дядя Валя сейчас невменяем и никого не узнает, но дядя Валя вдруг замычал требовательно и даже угрожающе, и даже сделал попытку поймать его за руку; не поймал, сильно покачнулся, но все же устоял на ногах; а он сам не мог не подстраховать его, чего не потребовалось. Он покорно остановился, ругая дядю Валю про себя. Постоял некоторое время, и дядя Валя

тоже тупо стоял со своей бессмысленной багровой рожей. Молчали. Он уж хотел было идти, торопиться дальше, посчитав, что долг вежливости исполнен, но дядя Валя опять упрямо, несогласно замычал, опять закачавшись и устояв. Что еще такое? Дядя Валя не говорил ни слова, да и не мог. Стояли, молчали. Он начал сердиться. За каким просто так-то стоять? Он повернулся, сделал решительный шаг, другой, третий, не обращая внимания на протестующее мычанье, остающееся позади, но не выдержал все-таки и обернулся. Дядя Валя, делающий попытки сдвинуться с места, но так и остающийся к нему пригвожденным, слабо, хотя, чувствовалось, и изо всех сил, протягивал ему бумажную пачку дешевейших, дряннейших сигарет «Прима». Он не мог не вернуться. Как-то муторно, скверно ему стало. Дядя Валя, как можно добрее сказал он, спасибо, но… не надо. У меня есть курить. Но дядя Валя опять страстно замычал и все тянул к нему пачку «Примы». Он понял, что дешевле отделается, взяв эту пачку. Взял эту пачку, сунул в передний карман штанов, состроил улыбочку и пошел дальше. Мычанье позади прекратилось. Он убыстрил шаги и больше уже не слышал мычанья, обернулся, дядя Валя все так же стоял, но уже молча, вот и слава богу. Пачку он сразу же решил выкинуть, как только скроется с дяди Валиных глаз. Но почему-то не выкинул. Пару раз за этот день вспоминал о ней и хотел выкинуть (она создавала некоторый дискомфорт, сунутая в передний карман), но опять не выкинул. Даже довез ее до своего дома, до своей комнаты и сунул в свой бардачный стол, так и не отважившись избавиться от нее. Изредка он натыкался на нее, когда что-то искал, но уже просто не обращал на нее внимания — валяется, ну и пусть валяется. Много чего у него неизвестно зачем валяется.

Вот, собственно, и все.

Но почему-то в последнее время дядя Валя стал всплывать у него в памяти. Неизвестно почему. И эта нищенская его «Прима». «Последнее время» - это сколько? Черт его знает. Может, месяц. А может, год. Или два. Он уже давно не знал, сколько времени прошло и когда узнавал, что что-то, о чем он думал, что оно было пару

месяцев назад, случилось на самом деле полтора года назад, он уже не удивлялся. И он ощущал нытье в груди и слабость в пальцах, когда вспоминал о дяде Вале. И «Прима» еще эта нищенская. И зачем дядя Валя дал ему ее? Давно, правда, она не попадалась, делась куда-то.

Очнувшись, он заговорил, неожиданно для себя.

Я, помимо прочего, считаюсь апостолом индивидуализма. Но индивидуализма нет, потому что нет индивидуальностей. Их так называемый внутренний мир не стоит ничего. В каждом играет одна и та же заезженная пластинка. Заезженная и заевшая. Что-то такое: смыслоутрата, «экзистенциальный вакуум», «смерть бога», «поиски» или «обретение бога», «поиски себя», «существование» такое-сякое, пятое-десятое. Мистицизм всех оттенков, разумеется. Традиционная церковность, идущая сейчас по возрастающей. Гиперквиетизм, гиперактивизм. Что-нибудь раз в двадцать лет появляется какая-нибудь модная теория-игрушка; те, кто поглупее, относятся к ней серьезно. Восточные всякие бредни, французское чириканье. Марксизм, не до конца еще издохший. Да и достаточно. Извините, кого пропустил.

В общем, все «индивидуальности» похожи друг на друга, как сиамские близнецы. Они имеют лишь ценность кирпича в стене. Если, впрочем, есть на свете стены, сами имеющие какую-либо ценность, — а в это я не верю. Тысячелетний рейх — такая же скучища, как и шестидесятилетие октября. «Буржуазность» опять же, ха-ха — мы уж говорили.

Ты и своей, так сказать, пастве так говоришь?

Нет. Как можно — мне, певцу индивидуализма? Он засмеялся. Да и пророку не стоит слишком уж борзеть, ему все-таки надо льстить аудитории… Я — изобретательно льщу. Даже когда ругаю.

Странно, подумал он. Так все-таки кто имеет власть — я над ними или они надо мной? Скованы одной цепью. Все мы — бессмысленные ее звенья; звенья — разные, можно облюбовать себе то или иное звено, но нельзя не быть звеном.

Опять бессмыслица, тоска, тщета… Опять.

Вслух он ничего не сказал.

Брат немного помолчал вежливо и продолжил старое.

Ты прав. Я плохо жил и плохо умер. «Как живут, так и умирают». Но ты умрешь еще хуже, чем я. Я все-таки тебя люблю, поэтому и позвал тебя.

И почему же я умру хуже?

Совесть. Банальная совесть. Ты не настолько боговдохновенен, чтобы быть бессовестным. И то, что произошло со мной — сотая часть того, что произойдет с тобой.

Он скривился.

Стращаешь? Чем — серной вонью? Ее и здесь достаточно.

И добавил:

Как я погляжу.

Молчание. Долгое. Наконец брат сказал, как будто с трудом:

Зря ты пришел.

Ему стало больно. И чтобы еще сильнее растравить эту боль, он произнес:

Да, зря. Я вижу, что зря.

Повернулся и пошел. Без «до свиданья», без «прощай». С некоторой жутью он чувствовал тишину за спиной. И вдруг брат заорал ему вдогонку.

Ну тогда знай, как я умер! Я не хотел тебе говорить, но ты вынудил меня! Ты безумен! Безумен, и даже не понимаешь этого!

Так вот знай, как я умер. Мне было жутко плохо. Я был с бодуна, поругался со своей. Была ночь, я был один — моя половина умотала. Ладно. Выпить — ни грамма. Мне было страшно. Больно, но и страшно тоже. Такая вот комбинация. Ты знаешь, какова эта комбинация. Ладно. И я решил позвонить тебе, потому что некому больше было.

Некому? попытался он усмехнуться. Он стоял в некотором отдалении, но опять лицом к гробу.

…Ему показалось, что брат в гробу облизал пересохшие губы. Брат продолжал.

Ты слушай. Я тебе позвонил, а ты сказал, что поздно, спишь, мол, и положил трубку. Я хотел еще позвонить, хотел тебе объяснить, что это не обычный случай. Да, я знаю, что поздно, но бывает. Я позвонил, а ты отключил телефон. Я — по мобильнику, но ты и его отключил. Я заметался как крыса. И вдруг понял, что пришла пора. Вот оно. Даже хорошо, что ты трубку не взял. Таблеток у меня много, традиционно. Я сожрал все таблетки, которые были. И лег на кровать. Лег и закурил. Дальше не помню. Все.

Он слушал все это. Потихоньку начало доходить. Он погружался, погружался в себя, в пучину себя, все меньше и меньше воспринимая все, что было вокруг него. Наплывала тошнотворная обморочность. Приходилось делать усилие, чтобы дышать, усилие на каждый дых. Слабым звуком он прочистил осипшее горло…

…а так ты прав. Ну что, устраивает тебя это?! Каково тебе сейчас?! Ты, сверхкрутой!

Это последнее, что донеслось до него. Может быть, брат говорил что-то еще. Машинально он стал двигаться к выходу.

Витражи постепенно оттаивали, начали медленно стекать. Вот уже их нет, остались одни только пустые окна.

Он, наконец, посмел обернуться. Гроба не было.

3.ПОСЛЕ

Он вышел из собора и пошел по площади прочь от него. Машинально включил мобильник. Нет, он не шел, он непонятно как влачился. Толпа голубей уже распалась на отдельные кучки. Он шел по ним, они, едва замечая его, расступались. Только раз он чуть не наступил на какую-то голубиху, она, отпрянув, измерила его, огромного хама, надменным испепеляющим взором; зло мотнула за плечо размотавшийся шарф.

День был светел и сер. Сер и светел. Светлы и серы были дома. Ветер то дул, то не дул. Как-то не шибко он старался… Да и все, что было вокруг — как-то не очень оно было. Дома стояли, но вроде как могли бы и не стоять. Небо висело, но могло бы и не висеть. Да его, собственно, почти и не было. Так, что-то такое пустоватое, белесоватое… Посыпало мелким снежком. Он был без шапки. Снег таял на лысине и лежал на волосах. Лежал так же, как на оградах, на крышах. Но на лысине еще таял пока.

СТРАХ ВЛАСТЬ НАСИЛИЕ МЕСТЬ. Он шел и мысленно бормотал эти четыре слова. В голове монотонно гудел их примитивный, слабовыраженный ритм.

А башка, чуть оправившись, начала что-то помаленьку изображать.

Я убил своего брата. Сбылась, наконец, моя мечта — убить себя. Нет, даже не так. Не убить себя — казнить себя. Именно казнить. До сих пор мне было не за что. Не настолько я был плох, чтобы заслуживать казнь. Теперь же — другое дело. Оправдываться бесполезно. Кто помер, тот и прав.

Он опьянел от этой мысли, как от третьего стопаря, и все показалось ему простым и ясным, а главное — близким, близким, как вот эта этикетка на бутылке. До чего близко и желанно это показалось ему — казнить себя.

Нет. Не этого хотел от него его брат. Тогда чего?

Он повторял и повторял свой разговор с братом и вновь и вновь убеждался, что был абсолютно прав. Ну хорошо, не абсолютно. А кто прав абсолютно? Да и что прикажете делать? Заливать водярой мировую скорбь, как брат?

Какая это, однако, мука — быть все время правым…

Но почему тогда так страшна ему, как тошна, так отвратительна его же собственная правота? Почему?

А быть все время неправым лучше?

Спокойно. Если правота отвратительна, то она не правота. Что-то он упустил.

В кармане завибрировал, зазудел мобильник. Он вынул из кармана вибрирующий мобильник, осмотрел его и отшвырнул в сторону.

Будь проклят этот мир, где, чтобы выжить, надо превратиться в зверя! Я не хочу жить здесь, где только жестокость — залог выживания для человека, который пытается сделать что-то с в о е . Да - с в о е . Чтоб это свое не затоптала чужая, равнодушная толпа. Если ничего не делать, то можно и не быть жестоким. Жестокость к себе — да, — но ты не можешь быть жестоким к себе и добрым к другим. А брат был «добрым», он был добрее меня, если угодно, но как он кончил, в какое дерьмо он превратился! «Я стал таким, как я, чтобы не стать таким, как ты».

Я скрутил себя в бараний рог, я презрел все эти «экзистенциальные проблемы», все эти «поиски себя» - я просто делал то, что могу делать лучше, чем все остальное, чем все остальные. Сделавший - лучше, чем не сделавший, я и сейчас так считаю.

Но бесполезно приводить аргументы в свою пользу. Они нужны для других, для того, чтобы парировать удары извне. Но никаких ударов извне нет и не будет. А себе самому нечего заговаривать зубы. Бессмысленное занятие.

А может быть, пришел и мой черед? Пусть чумная крыса сдохнет. Хватит осквернять собой землю. Может быть, и мне надо последовать за братом? И там мы встретимся, и простим друг друга… Я его, а он меня… Только в смерти мы сольемся…

Опять — нет. Я тебе уже говорил — нет. Ради своего брата я должен разобраться. Ради себя я должен разобраться. Сейчас как никогда я должен быть живым и думающим. Это уже далеко не только мое дело.

А зачем вся его контора, зачем вся его жизнь? Зачем теперь притворяться «успешным», «не быть неудачником»? Кого обманывать, зачем?

Нажраться, что ли? Ну нет. Этого они не дождутся. Вечное противостояние каким-то «им». Опять — стало легче.

Хотя, если пивка… Главное - водку не глушить.

Он понимал, что это пока еще не боль. Это — оглушение, шок. Мертвые, самонепроизвольные мысли бродят в голове. А вот сейчас начнется боль.

Сейчас она начнется.

Сейчас.

…шепот… маленькая лесная речушка… ручеек даже… прелестно журчит на своем маленьком порожке… женский шепот… солнце пестрит сквозь майскую листву… ветвь склонилась матерински к ручейку… правда, не она его баюкает, а он ее… шепот… а ты что тут делаешь? я? червяков ищу…

Дрын вогнали в середину груди. Сразу адски запекло. Ну все… готов… Он непроизвольно вскинул руки к груди, чуть-чуть, слегка. Насадили-таки его. Насадили, как жука, пополнили им коллекцию. Но он был не жук, он был узкая, острая личинка. Но не суть. Он увидел брата, идущего к нему навстречу, со слишком для него взрослым, даже дурацки-солидным, недавно купленным портфелем, смотрящего с восторгом на него, на своего старшего брата. Не помню, что там было. А ему чего-то не понравилось — может, тот самый портфель, он, скривив рот, сказал что-то такое… Брат сразу же изменился в лице, выпрямился как-то, вскинулся, почти лопатка к лопатке, глаза сузились, вспыхнули. А-а, вот что это было: не виделись пару месяцев, и так он встретил младшего брата. Надсмешечкой. Он вцепился зубами в руки, желая обглодать их. Он не мог видеть этого изменившегося лица. Он не мог слышать своего издевательского голоса. Попытаться слезть с дрына… Нет, не слезешь… А дрын начали тем временем поворачивать. Он тоже стал поворачиваться вместе с дрыном, кособочась, потому что, когда в тебя вогнали дрын — это очень больно, но когда его еще и поворачивают

он услышал, что издает низкий, ровный, монотонный звук, где-то низом горла, звук, лишенный какой-либо эмоциональной окраски

Лицо брата. Сияющие глаза. Так они не сияли при жизни. Портфель.

…1942 года больница была захвачена немецко-фашистскими войсками, учинившими зверскую расправу над больными…

Он вспомнил, как читал это в дурдомовской стенгазете, красные фломастерные буквы встали перед глазами. И он завыл, жутко, мерзко…

Но он тут же сунул обе кисти себе в рот, чуть не разодрав его, вытье смолкло. Остался тот же низкий звук. Вроде чуть легче. Но потом увидел лицо брата и расстреливаемых психов, даже непонятно, кого больше он жалел, они слились

и он пал на колени в позе умоляющего, как будто рассчитывая классичностью этой позы призвать в помощь всех умоляющих до него, сколько их было. Задрал голову и всем лицом уставился в небо. Небо было однотонное. По нему плыл еле заметный серенький дымок… Дрын в его груди вдруг провернули как-то особенно грубо, на два оборота, сильным, мотоциклистским движением, газу дали. Он скрючился. Не хватало воздуху. Не вздохнуть… Подавился слюнями как будто…

Он стоял на коленях и дышал. Начал чувствовать боль в ушибленных коленях. Потом медленно, осторожно встал. Пошел прямо вперед, понимая, что надо идти любой ценой, неважно куда. Впрочем, надо бы по площади, которая, как правило, безлюдна, за исключением голубей. И тут еще один кадр с братом. Но только со спины, о чем-то с тоской задумавшись, уже не мальчик, а парень. И это согбенная спина подействовала на него, разумеется, так же, как и лицо – опять дрын, и как-то свежее, крепче, - то впечатление от лица с портфелем уже успело слегка притупиться, - а вот это – свежее подкрепление, и к точно такой же, первой боли, примешался еще и ужас – ведь таких кадров миллион! его не хватит на все! Крутанувшись, он резко сменил направление движения, посмотрев только, чтобы с площади не уйти, дрын поворачивался и жег, пек, но он понимал, что на одном месте капут, с просевшими коленями он все брел прямо.

И так вот и дальше. И так вот и дальше. Еще кадр (а еще и старые стали возвращаться, набравшись свежести) – дрын – крута-

нулся на месте — сменил направление. Ломаной, ломаной он передвигался по площади перед этими каменными мощами, перед этими фраерами-голубями. Заметил, что разбившиеся на кучки голуби уже не прохаживаются, а застыли и все как один глядят на него. Он мог бы поручиться, что видит их раззявленные клювастые пасти. Это его злило где-то там глубоко…

…наконец он понял, что уже можно пойти к людям. Он почувствовал, что площадь надоела, что он устал, что он хочет есть и даже, может быть, пропустить пивка. Боль как будто опустошила его, и пока что нечему было болеть. Пока что. В голове каша. Он даже не пытался в ней разобраться. Он только понимал, что отпустило, отступило пока.

Странно, как это он забыл закурить. Первая реакция, казалось бы, на все.

Но его ждало нечто такое, чего он предвидеть не мог. И что сейчас было ему более, чем не к чему. Пожалуйста, когда угодно, но не *с е й ч а с .* Вот уж невезение.

Подходя к метро (решил съездить в свою любимую кафешку, глотнуть своего любимого пивка, пообмякнуть, да заодно и вспомнить метро, в котором он давно не был), он увидел обычную метрошную толпу, обступившую уличного певца. Но что-то в этой толпе было странное. Какая-то она была молчаливая, насупившаяся… Что-то тут было не так, он сразу понял. И пошел посмотреть, что там. Он пошел на толпу, как на приманку. Понимая, что совершенно нечего ему там делать.

На земле плясал мальчик без ног. Точнее он довольно ловко прыгал, припрыгивал по земле, иногда ухитряясь выводить в воздухе руками простенькие цыганообразные пассы. Женщина стояла поодаль ото всех и плакала, и даже не пыталась вытереть свое толстое лицо. Мальчик пел механическим, сипловатым, простуженным, заведенным голоском, почти без мелодии. Да и носом хлюпал. Рутина, в общем. И эта заведенность, эта безголосость делала картину еще ужаснее.

Он процепенел так несколько секунд, потом его как сорвало, и он зашагал прочь, прочь от толпы, от мальчика, от женщины. Но следил, чтобы не идти слишком уж быстро, иначе бы заметили его торопливость, кинулись, догнали. И заставили бы дождаться окончания номера. Надо не привлекать к себе внимания. Но он все-таки вернулся, достал из кармана какую-то бумагу и бросил ее мальчику в кепку, не посмотрев на него.

Он не видел, куда шел, серые дома проходили мимо, людей он совсем не замечал, только машинально чувствовал лицом, как крепнет холод и ветер. И, кажется, становилось темнее. У одного канала он свернул на него и зашагал по набережной. Он видел черные чугунные ограды, чувствовал, какие ужасно холодные они сейчас. А темнота наваливалась неотвратимо. Щипало нос. Начало жечь уши. Люди исчезли. Один раз он только видел мальчика и девочку, тащивших что-то волоком по снегу. Вроде он видел раньше что-то такое? Дети появились и тут же пропали во тьме. Дома было видно все хуже, но он знал, что они рядом. Свет из них, хоть и слабый, продолжал идти — правда, как будто не из окон, а из каких-то дальних, очень дальних комнат.

Он шел. Было темно и еще темнело. Он вдруг удивился. Он услышал свист ветра — ветер не свистит так среди домов, так свистит он только на пустыре. Он огляделся, вправо, влево, вперед, назад. Дома исчезли. Было темно, но он бы их видел. Их не было. Снег, снежный покров вокруг. А река? А река есть, хотя, конечно, без оград. Он угадал ее в рельефе снега. Из реки, из снега, рос камыш. Старая сухая солома. Он не в городе, он в глухих азиатских пространствах. Джезказган. Кара-Богаз-Гол. Он почему-то подумал, что надо сейчас пойти по замерзшей реке. Но вспомнил, что может провалиться в прорубь, и на этот раз рядом с ним не будет бабушки, чтобы вытащить его. Он шел дальше, понимая, что вернуться уже невозможно. Сколько можно протянуть одному, зимой, в степи? Но страшно ему не было. Машинально отметил, что очень давно не видел негородского снега, которого сейчас почти не видно, но все-таки.

Смерть от замерзания, говорят, очень легкая, чуть ли не приятная. Ну вот и убедимся.

А снег становился все глубже и глубже. Он уже стал вязнуть в нем и каждый раз с усилием извлекал ногу. Потерял башмак. Стал нашаривать его, чувствуя, как очень быстро мерзнет шарящая рука. Вытащил свой тупоносый башмак, наскоро повыбил оттуда снег. Но теперь оставлять башмаки в лунках своих шагов он стал все чаще и чаще. Правую руку он чувствовал все хуже. Сменил правую на левую. Не ноги отморозишь, так руки. Вернее, и то, и другое. Он выбивался из сил. И один раз, когда он стоял, тяжело дыша, свесив голову, делая небольшой передых, он вдруг почувствовал, что что-то изменилось, светлее стало, что ли?

Приподняв глаза, он увидел, что стоит перед огромным северным сиянием. Сияние было многоярусно и что-то органное было в нем. Казалось, оно слегка покачивается перед его теперь уже полностью поднятыми глазами. Он смотрел на сияние. И сел на снег. Ну вот и все… Дальше он не пойдет. Бессмысленно. И сил нет. И как ему повезло в его смертный час – он первый раз в жизни увидел северное сияние, добрался, дополз, доскребся до него. Все-таки дошел. Сидеть было тоже трудно, и он лег. Так он и отойдет… Полуприкрыл глаза. Это сияние будет последним, что он увидит, если не считать темноты.

Он ожидал непреодолимо наваливающегося сна, но, как ни странно, он наполнялся бодрствованием – и теплом. Открыл глаза.

Он стоял на какой-то незнакомой улице, под серым небом, среди серых домов. Мрачновато было, темновато на улице. Слегка прохладно, он слегка поеживался. На улице никого не было. Он пошел по улице. Направление не имело значения. Дошел до площади, постоял. Площадь была пуста. Правда, если пересечь ее по диагонали, то вроде горят там какие-то огни. Он пошел на огни. За полсотни шагов он узнал свое любимое кафе. Раньше-то ведь он ездил туда исключительно на машине. Вот и кафешная улица. Поддатая

публика устраивается, рассаживается по своим кабриолетам. Было не поздно, и не очень было многолюдно. Он вошел в свое кафе.

Кафе своей вычищенностью, вышколенностью напоминало офис. Выдрессированный персонал в темных костюмах бордового оттенка, в пиджаках и в юбках. Коротко, делово стриженные. Скатерти на столе – идеально выглаженные, идеально положенные. Аккуратнейшим образом свернутые салфетки, – к которым он никогда не прикасался, это казалось варварством, как в каком-нибудь музее, - а просил принести себе бумажных. И мебель была офисная. Ему ведь и нужен был офис. Бывать в городе не в офисе он давным-давно отвык. (Единственное исключение – е г о комната, с рассыпанным повсюду пеплом, со старыми шлепанцами, с валяющимися книгами и пластинками; свинство и глубокая упрятанность - вот что такое домашний уют, так он думал). Он прошел в самый дальний угол, на свое обычное место. По пути сделал ручкой официантке, которая постоянно обслуживала его. Действительно, как только она освобождалась, она шла к нему первому. Сейчас она, увидев его, улыбнулась и кивнула ему – сейчас освобожусь, подойду.

Он сел за офисный стол, покрытый стерильной скатертью. Пока все было нормально. И внезапно он подумал о брате. И сразу все вспомнил. Брат ожил и заболел внутри. Он болел и болел и не собирался успокаиваться, боль становилась только сильнее. Он поспешно закурил. Стало на миллиметр легче. Люди кругом, и даже музыка. А он один… Вот оно, зажгло, запекло…

И вдруг он издал глубокий, рыдающий, облегчающий вздох. Боль смыло. И он понял, что это брат сказал ему: ладно, живи пока, но ты обязан вернуться ко мне с решением.

С каким решением? Ни о каком решении он и знать не знал. А сам-то брат знал? – тихо подумал он. И понял, что без решения он не возвратится. Он сидел и обтирал глаза.

А потом заиграла музыка. По-английски пел хриплый мужской голос; он искал лето. Это было в припеве, остальных слов он не по-

нял, да и слышно было плохо; а припев все доносился, возвращался. Где ж лето-то найти?

И он увидел осень. Он на грунтовой дороге, изрытой, развороченной телегами. Глянул на небо и увидел слабо проступающие силуэты плоских бледных облаков, но, однако, надежно заслоняющих собой синеву. Небо было сухо, в нем не было ни намека на дождь. Оно было чисто, свободно от проводов. И слева, и справа была равнина. Ломберный стол равнины, поросшей короткой, ровной, ровно-зеленой травой. А лес? С правой стороны лишь чуть-чуть виден, чуть-чуть. И рванул ветер - осенний, нешуточный. Ветер захватил, подхватил его; на несколько мгновений он утратил способность дышать. И он ощутил восторг умирания. Стихия осени вступала в свои права. Он искал лето, но нашел осень, но это не хуже!

…это когда они на море, с мамой, «в лягушатнике», он залез на камни и посмотрел вовне… и вдруг увидел самую настоящую морскую пучину, которая, вероятно, та же самая, какая бывает и в тысячах километров от берега… и до чего же тоненькой перегородочкой он от нее отделен! жутко стало от этого понимания - так вот и ветер вдруг означил непреодолимую пропасть между летом и осенью… и уже не вернешься назад, не успокоишь глаз на зеленой траве, ибо трава эта – уже совсем не та, это волк в бабушкиной постели… чувство катастрофы лета, его слома, смерти… ветер вернул его в пучину реальности; убил в нем тепло жизни, но вернул в реальность… и этот метафизический лес на краю горизонта, все время исчезающий, исчезающий, но никогда не исчезающий до конца…

Рекламно-шампунно-колготочные девицы обсели стойку. Видны были их классные задницы, чуть расплющенные сиденьем, а над задницами – полосы голых спин. Вахxx… Холод в животе. Попытаться познакомиться? Девушка, который час? Его аж передернуло.

Правильно, что они не пойдут с ним (кое-кто, может, и пошел бы за деньги – впрочем, кафе здесь было другое), но он не об этом сейчас думал. Он думал про «всерьез». Правильно, что не пойдут. Любовь к себе он неизменно воспримет, как слабость. И тогда либо

он покорит ее себе, сделает подстилкой, половой тряпкой, - а потом вышвырнет, потому что презирает тряпок. Либо, если она не покорится — они переругаются-передерутся — и она уйдет от него. Только так.

Все правильно. Любить такого, как я, невозможно.

Подошла его официантка.

Вы красивая, сказал он, глядя ей прямо в глаза. Он слышал, как стукало сердце. Он стал красный как рак, даже волосы потрескивали — шапка на нем горела. Он признался в воровстве.

С какой-то гибельностью, с какой-то доведенностью до последней черты он смотрел ей в глаза. Да, я сказал это. И мне плевать, что ты об этом думаешь. Вот что говорили его глаза.

Looking for the summer…

Подобный английскому *сплину*… Это и был английский сплин, все тот же самый, за двести лет он нисколько не изменился.

Ой, да ну вас, комплименты сразу разговаривать! сказала весело она.

Он несколько воодушевился.

Когда же я комплиметы говорил? в виде чаевых разве?

Ну, вот сейчас сказали.

Но тут же обеспокоилась:

Ой, а что с галстуком-то у вас?

Галстук, полустянутый, растянутый, позорно-обвисший, так и болтался на его шее.

Эк! Как раз, кстати.

Тьфу, надоел-то как, сказал он. У вас ножа или там ножниц нет? А то хрен порвешь его!

А просто снять не умеете? удивилась она.

Не получается. Еле надел.

И прибавил:

Со школы не надевал.

А сейчас почему надели?

Она как-то плохо понимала. Он не понимал, чего она не понимает, и тут же понял, что не понимал, что выглядит он довольно-таки дико.

О! Тут целая история — он махнул рукой, как можно более юмористически-безнадежно.

Она пошла за ножницами.

Галстук плохо подавался маленьким дамским ножничкам. Но он дотерзал, докромсал, наконец, его и, подавив желание отшвырнуть его в сторону, положил на соседний стул. До чего, оказывается, осточертел ему этот галстук, невзирая на все предшествующие события.

Она смотрела на него смеющимися глазами. Она давно уже знала, что нравится ему.

Он отдал ей ножнички.

Ну, приятно вам посидеть, сказала она и отошла.

Брат все это время жил в нем. Он больше не болел, но он понимал, что история с ним только начинается.

Лет с пяти (или с одного?) он знал, что такое баба — это нечто, что надо поймать, скрутить и отыметь. Откуда он это знал? Кто сказал ему это? Абсолютно непонятно.

Один раз ему неожиданно позвонил Грыжа. Столько лет они не виделись. Странно, что позвонил именно Грыжа, которого он терпеть не мог, и это было взаимно. Но Грыжа, сильно поддатый, сентиментальничал, вспоминал золотые деньки и в довершение предложил приехать. Он как-то легкомысленно согласился, любопытно было посмотреть на человека из сгинувшего мира.

Грыжа был поблекший, потрепанный, испитой. Пробавлялся каким-то мелким бизнесиком, не шибко, судя по всему, удачным. Но, в общем, был узнаваем. Жил он в маленькой, перекошенной квартирке, доставшейся ему от матери, по сей день работающей проводницей в поездах. Мать как раз оставила ему партию яблок посушиться. Он запомнил эти твердые зеленые яблоки, постоянно перекатывающиеся под ногами с дубовым стуком.

Грыжа оказался гораздо пьянее, чем звучал по телефону. Он был мрачно и задиристо пьян. Только глянув на него, он понял, что зря приехал. Но никуда уже не денешься.

Грыжа, неприятно усмехаясь, представил ему свою жену. Обычная, посредственная шалава. Что-то было сомнительно, что она действительно жена.

Да это все неважно.

Он и не помнит, с чего всего началось. Обычная, вроде, «семейная сцена». Милые бранятся.

не помню

черт знает

Грыжа начал ее молотить, методично и сильно. Он, пьянючий вхлам, наблюдал за этим, что-то бормоча

Ее физиономия параллельно опухала и от побоев, и от слез, она ревела, не пытаясь убежать, яблоки сушатся, перекатываются по полу, и вдруг он — сам не понял как — присоединился к Грыже, сам начал ее бить и бить и бить, не всем плечом, не всем корпусом, но тем не менее

мочил, мочил, мочил эту курву, суку, падлу

и сатанел и зверел и хренел

Он вдруг очнулся.

Грыжа. Что ты делаешь? Ты убьешь ее.

Чужой, неслыханный прежде голос с изменившимся тембром, и присвистывающий, как дешевая свистулька

Именно этот новый тембр и услышал Грыжа сквозь весь этот бред, он сразу же подумал, что не громкость, а именно тембр спас дело, спас шалаву, как потом выяснилось

Грыжа услышал

Повернул к нему свое багровое, безумное лицо

Гры… Саня. Нас закроют. Саня. Ты понимаешь? моля, чтобы Грыжа понял, что значит «закроют»

Кажется, Грыжа что-то понял

Он потащил ее к выходу, злился на нее, что та как оцепенела, и крыл ее матом — для Грыжи, а не для нее; возместить матюгами не додаденное Грыжей; случайно пнул яблоко — оно отлетело по полу, очень быстро, но все с тем же тяжелым, твердым катящимся перестуком, осталось несколько метров до двери, а это дура еле ковыляет, и он влепил ей звонкий подзатыльник, он видел спиной Грыжу, и умолял судьбу успеть до двери, подзатыльник получился какой-то отеческий, гы-гы, она, сразу как будто что-то вспомнив, поскакала, а он орал матом

Вали отсюда, мандавошка! проорал он ей в парадняк.

Вернулся. К его удивлению, лицо Грыжи было все так же пугающе багрово

Грыжа перебирал пустые бутылки, да еще на всякий случай наклонял в воздухе и смотрел на свет и вдруг взвизгнул, не найдя добавки, и зафигачил пустой бутылкой в мебельное зеркало, зеркало посыпалось

Винище же осталось, засюсюкал он, все еще перессавшийся, да и оставаться одному с невменяемым Грыжей опять с ним драться? как-то подотвык

ТЫ ЧТО?? ПОСЛЕ ВОДЯРЫ ВИНИЩЕ? как о кощунстве

Он испугался.

Да ничего, Саня, ничего.

Слушай, ты сиди, я сам сбегаю

ЗА ВОДЯРОЙ??

Да-да, за водярой. Мигом.

НУ ДАВАЙ!

Уехал на тачке

…смешно, но ему и по сей день стыдно перед Грыжей, что он кинул его с добавкой…

Самое дикое, что злополучную шалаву ему довелось видеть еще один раз. В какой-то из многочисленных братовых компаний, иногда он там бывал.

Шалава была как новенькая. Сразу узнала его:

Ой, ты такой молодец, Олежка! А этот дурак такой, да? Он не соображает, что делает, да? Ужас такой! О-о-о-ой, ты такой классный, Олежка!

Она чувственно поцеловала воздух. И нежно погладила его по руке.

Он не стал говорить, что он не Олежка. Он только вежливо улыбался.

Офис-кабак, как ни сопротивлялся, все-таки становился больше кабаком, чем офисом. Дым, угар, пьяное оранье. Близкие тихие компании и далекие громкие. Хотя он в углу, ему слышно меньше.

Вот уже пустая бутылка «Гиннеса» перед ним. Ни в одном глазу. Бывает. Перенервничал. Но нестерпимо захотелось в клозет. И так бывает.

Направился к буквам WC, там, где два треугольника, один вверх острием, другой вниз. Но по пути зашел в какую-то дверь (как-то раньше он ее не замечал).

Круглая сцена. Ритмично дубасит какая-то электрическая музыка, громко, почти невыносимо, как это у них принято. И — вспышки, вспышки, вспышки. Красное, зеленое, синие, оранжевое, черт знает какое, глазам больно. Электрические цвета. Но на круглой сцене для танцев никого не было. К чему тогда музыка? И тут он увидел мальчика лет семи, который ходил кругами по сцене, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Мальчик раскинул руки и принял форму креста. Он изображал самолет, жужжа себе под нос — жужжание угадывалось в грохоте и во вспышках. Так он уже долго ходил, и ему не надоедало.

Он постоял и посмотрел на мальчика. Тот его не замечал.

Вернулся к своему столу.

По-быстрому выдул еще бутылку «Гиннеса». Все стало на свои места. Повело. Англичанин из динамиков кончился. И оттуда же, где раньше был он, запели-заиграли «писню». Калына. Ве́рба́.

Он слушал писню, вкушал ее, отдавался ей, как вконец изголодавшаяся по мужику тискаемая баба.

Опять пришла весна.

…снов дивчина даруе свое сэрце мени…

Весна. Вечное возвращение первой любви… предчувствия ее…

Вновь мой сад загадочно пуст.

…ослепленный сверкающими, переливающимися, как бриллианты, слезами он входит в сад. А сад-то яблочный, только после дождичка, он весь сверкал и переливался навстречу его слепым, сверкающим глазам. И солнце выглянуло, поглядело, да и осталось.

Писня кончилось, куда как быстро.

Теперь тенор-саксофон втолковывал что-то грубовато-дружелюбное…

Красавец с печальными сутенерскими глазами сидел тут же. Из нагрудного кармана свисал носовой платок.

Тянула через трубочку свой коктейль и дама под вуалью, с родинкой возле угла рта. Дама была эфирна, прозрачна. Она истаивала в дымном воздухе кафе так же, как ее сигарета истаивала в ее тонких трепетных пальцах… Ее кисть изогнулась по-лебединому… Изнеженная кошка свернулась рядом с ней на скамейке. Дама рассеянно гладила руку о кошку. На столе перед дамой лежал веер. Иногда она им обмахивалась. Веер был похож на рыбу скат.

Он увидел его, хохочущего. «Количественно-качественный анализ», со смехом возвещает он. Колпак-трезубец с бубенцами. Курносое лицо с глядящими на тебя круглыми ноздрями, из-за ноздрей не видно глаз.

Количественно-качественный! повторяет он, и еще, и еще раз: «количественно-качественный», он еле говорит из-за душащего его смеха, но все-таки продирается сквозь него, повторяет и повторяет.

И еще долго в ушах, уже когда остался относительно один: кч-ч, кл-ччч, кчч, ччккк…. лкччч…

Какая-то ветреная, нервная у яблони листва. Росчерками все, росчерками. Когда смотришь на яблоню, кажется, что сейчас ветреная и солнечная погода. Нет, не знаю, как сказать.

Опять понадобилось в туалет.

И опять, проходя туда, что-то заставило заглянуть его за только что обнаруженную дверь и войти. Никаких дубасящих музык, никаких мальчиков-самолетов там не было. Он оказался в церкви.

Где-то далеко очень красиво, грозно, пел окутанный дымом батюшка. Видно его было смутно.

И, всего в нескольких метрах от того места, где стоял он, стояли на четвереньках старухи в платках, уперев лбы в пол, и их четвероногий строй уходил вдаль — туда, глаз не сразу всех охватывал.

Он стоял, но тут что-то произошло в нем, и он тоже стал раком, поближе к последнему старушечьему ряду. Лоб он твердо упер в пол. Батюшка был далеко, но его голос очень хорошо доходил досюда.

…время шло… батюшка пел и пел… а он сам куда-то провалился, пропал… шло время… постойте… что-то странное…

Он очнулся. Батюшка смолк. И все старухи, не вставая со своих четверенек, обернулись на него, все как одна, лица в платках.

А он пел, пел непонятно что, не сдерживаясь, во весь голос, и слезы бежали по лицу, да еще раскачивался, да еще размахивал руками.

Поняв, однако, ситуацию, он шустро вскочил, отряхивая колени. Улыбаясь, часто-часто кланяясь, бормоча какие-то извинения, пятясь, пятясь, он дошел до двери. Недалеко было. Выскользнул, как смазанный. За дверью перевел дух. Фу-ты черт! Надо ж, как оно… Покачав головой, он пошел дальше, в туалет.

Он заблудился в лесу. Не мог из него вылезти, выползти. Он не знал, что делать.

И тут он увидел странного, старого старика, седого, с голубыми глазами. Он стоял около старой ели. Смутный фон, мутный. Старик серый, седой. Коричневый от старости череп проглядывал сквозь редкие седые волосы. Но глаза светят яркой голубизной.

Он горячо рассказывал старику, как он заблудился, он жаловался, он изливал душу. Старик молчал. На его жалобу он дал ему эмалированную кружку, и погладил по голове шершавой ладонью. В

кружке была черника. Черника пахла травой, и, конечно же, с черничным листиком поверх, маленькое зеленое сердечко листика. И он вдруг сразу понял, куда ему идти, пелена спала с глаз. Он горячо благодарил старика, и, уходя, некоторое время оглядывался на него. Старик был спокоен. Только коротко и учтиво склонил голову на прощание: ничего, мол, бывает.

И он понял, что старик этот был Бетховен.

Вышел из WC еще более опьянев. Какие-то длящиеся зовы он слышал внутри себя. Однако, и тут произошла какая-то хренотень. Когда он проходил мимо стойки, он споткнулся на ровном месте – то ли спьяну, то ли сцена в церкви не отпускала его, то ли неизвестно почему. Но он задел, толкнул в плечо одного, сидящего за стойкой. Перед пострадавшим стоял стопарь водки, только что аппетитно налитой; уже готовой, по первому сигналу, огреть по балде того, кто ее налил, предвкушающего. Часть водки выплеснулась.

Извини, друган, - сказал он тому, сейчас ему было совершенно не до разборок. И пошел себе дальше.

Но тут же почувствовал, как сзади кто-то крепко схватил его за руку.

Он обернулся.

Слушай, я ж сказал, извини, сказал он.

Ах, извини?! подхватил тот; руку ослабил, но не отпускал.

Он высвободил руку.

Че мне теперь, в присядку перед тобой плясать? Давай я тебе еще водки куплю.

Чего??? – тот не поверил своим ушам. Ты за кого меня держишь, козел? Я сам себе водки купить не могу?

Этот, застоичник, все разогревался и разогревался, распалялся и распалялся.

И он почувствовал, как он и сам злеет и наливается, и очень быстро, моментально:

Как ты меня назвал? Ты, пидор гнойный! Да я щас тебя…

У обоих накипело — горечь от беспрестанных унижений, которыми усеян путь на вершину, да которые и сейчас никуда не делись. Как в армии — дедовщина, как на зоне — месть тем, точнее ВМЕСТО ТЕХ, кто когда-то издевался над тобой. Не только унижение, вся жизнь, все отчаяние, горечь, злоба, которые приходится терпеть и прятать.

Тот ринулся на него, но он этого ждал и дал ему хорошего в скулу, по-колхозному дал, по рабоче-крестьянски, как умел, но дал — о-го-го! Того чуть не вдавило в стойку, но стойка была крепче, он загремел со своего сидения, он добавил еще, но плохо, вскользь пришлось. Его товарищ за стойкой было дернулся, но он только вскинул в его сторону руку — стоп-сигнал — и товарищ остался сидеть за стойкой, где сидел.

Какой все-таки ерундой иногда казалась ему вся эта борьба… Воздух, реки, облака, ветра, дожди. Бараньи лбы на берегу залива. И трава, конечно. Трава, трава, трава.

Но первый возник вновь неожиданно быстро (эх, черт, мало добавил!) Он почувствовал, что устал. Очень устал. И когда кончится этот идиотизм? медленно, отдельно проплыла мысль.

Но тут появилось двое охранников. В черных костюмах и галстуках — точь-в-точь, как его служащие. На выход, сказал кто-то из них; крепко взяли под руку и повели. И смотри ж ты: пострадавший из-за стойки был глуп, пьян — а сразу же смекнул, что охране не стоит сопротивляться. Пошел как миленький. А он, умный и всего лишь поддатый, стал, ни с того, ни с сего, залупаться — и тотчас же получил под ребро, точно, профессионально. Он перестал мочь идти, он упал бы, но охранник вздернул его и дальше уже волок. Пока его доволокли до выхода, он мало-помалу оклемался.

Дверь захлопнулась за ними.

Он мельком рассмотрел обидчивого из-за стойки. Прорезь рта — некая тильда, прорезь серых глаз, бровей как-то не видать, тонкий, кривоватый, хрящеватый нос, на голове жидкий рыжий пух — можно и так облысеть, без лысины, равномерно. Большое, худое, костистое

лицо в грубых рытвинах — следах от подростковых угрей. На улице он успокоился.

Пришел и покропил меня молочными каплями

Ладно, пацан, заявил рыжий ему. Некогда мне тут с тобой. Номер я твой запомнил — увидимся еще. (Не запомнил никакого номера этот тип, он пешком пришел).

Забыв об этом рыжем, он спокойно позвонил туда, откуда был только что выставлен.

Открыл дверь не швейцар, а тот самый охранник, ткнувший его под ребро.

Что, мало показалось? спросил охранник.

Мне надо поговорить с вашим администратором. Вот моя визитка.

Охранник посмотрел с сомнением, но и оформление визитки, и всякие слова на ней, видимо, не позволили ему послать его к матери, пока не добавили.

Подождите… буркнул он.

Это ничего-с. Мы подождем.

Охранник шире открыл дверь:

Посидите здесь, подождите.

На всякий случай помягчел.

Он сидел у самых дверей, рядом со швейцаром.

И вдруг, возликовав, он увидел Администратора, сопровождаемого охранником, спускающимся по лестнице справа.

Администратор был одет в белый костюм в мельчайшую серую клетку. Пузо под галстуком уверенно уходило в штаны. В пору его юности такие, как Администратор, заведовали партами, панцирными кроватями, канцелярскими принадлежностями и еще в том же роде. Но сейчас — ну ни за что бы не сказал. Разве что топорная мужланская физиономия как-то выдавала.

Проблемки у нас тут, вижу, — широко, но как-то не очень хорошо разулыбался Администратор, вместо мужского рукопожатия похлопав его по плечу. Ну, пойдем, поглядим, как там у нас и чего. И они вдвоем сделали первые шаги по лестнице.

Ты тоже иди, голубь, не с усмешкой, а с некоторым чуть намекающим на нее придыханием обратился Администратор к охраннику. С лицом охранника творилось что-то не того. Чувствовалось, что он крепко влип.

Все втроем зашли в кабинет Администратора; мебель была лакирована так, что отсутствовала потребность в зеркалах. Шли — это они двое, а охранник, скорее, мрачно влачился.

В кабинете никто не сел, все остались стоять. Администратор и охранник стали в профиль к нему. В почти полной тишине, вмиг наступившей после кабацкого гуденья и оранья, зазвучал несколько томный, будто утомленный собственной значимостью, но уверенный администраторов тенор.

Администратор сказал:

Что это наш почетный клиент, ты знал?

Да нет, их там много, пятый день на работе…

Администратор — хлясть, тыльной стороной руки тому по физиономии, не слабо, должно быть, голова охранника здорово мотнулась.

А этих двоих чертей ты знал?

Охранник ел администратора глазами, как старый унтер, знающий лишь два слова: «так точно» и «никак нет».

Не знал.

А что они полезли к нашему клиенту ты видел?

Да нет… Я…

Хлясть еще тыльной стороной.

Тебя, харя вологодская, зачем сюда поставили? Вышибалой в привокзальном шалмане? А?

Охранник замедлился с ответом. Еще — бац по роже.

Тебя за порядком сюда следить поставили. Тебя поставили разобраться в ситуации. И разрулить ее. А не метелить почем зря. Здесь что тебе — трезвяк?

Он стоял и наслаждался сценой. Он впитывал ее. Отвык он от такого - чтоб под ребро. Отвык и привыкать не собирался. Насла-

ждался. Один раз чуть даже не всхохотнул злобно, с алчным всхлипом.

Запомнил его теперь? – обратился к охраннику Администратор, указывая на него.

Да, да, - клятвенно закивал охранник.

Ну иди тогда. А этих чертей чтоб тут и близко не было. Их запомнил? Хорошо, допустим. Учти – это последняя твоя ошибка.

Дверь закрылась.

Знал бы ты, сколько мы им платим, быкам… - Администратор невесело усмехнулся в сторону двери.

Администратор мешкал. Не спешил прощаться, что странно. Он сам было уже решил это сделать, но Администратор подошел к какой-то отражающей мебелине и изрек:

Помянуть бы надо.

Отчасти это звучало упреком: умный-то ты умный, да обычая не переумнишь.

Он не сразу понял. А, это же он про брата. Администратор же тоже хорошо, долго его знал. Ну и, что главное, Администратор пил изрядно (ничего ему от этого не делалось). Повод – как же! Серьезней некуда.

Ему стало стыдно, не без того. Да, да, конечно… Дел по горло…

Администратор широко развел руками, но уже не без юморинки: у всех у нас дел по горло.

Эх, мужик был… (это все Администратор) жить бы да жить… но, как говорится, (вздох), все под богом ходим…

И налил, и ему, и себе. Прилично налил.

Что-то крепкое.

Администратор, конечно, преувеличивал свои чувства, но не совсем. Брата, действительно, любили многие.

Ну, побежал, вставая и вздыхая, сказал он.

Пошел?

Да.

Заходи.

Все четко!

Он действительно думал уйти, но воротился на свое место. Зачем? Непонятно.

Он был разбужен ранним звонком в дверь, открыл, на пороге стоял небритый брат в какой-то незнакомой, нестерпимо зеленой рубашке. Ну, ЧТО опять? сказал он, еле сдерживая себя, он был в бешенстве оттого, что не дали доспать в единственный выходной. Брат что-то молол, развязывал, наклонившись, шнурки, терял равновесие, тыкался с каким-то тыквенным стуком башкой в стены, в шкаф. Извлек литровую бутылку теплой, прозрачной водки. Нагрелась, зараза… пробормотал он. Он стоял, бледный от ярости, наблюдая все это, любуясь этим. Тебе поспать надо, с гадливостью выговорил он.

Брат завалился в другой комнате, обессилено храпя, воняя носками. А сам он не знал, что делать. Теперь уж не заснешь, не стоит и пытаться, только злиться лишний раз. И придется пить — так легче пройдет время с братом, отдых своеобразный.

С ненавистью сунул бутылку в морозильник.

Это был последний раз, когда он видел брата живым.

Офис уже окончательно превратился в шалман. Он никогда не бывал здесь так поздно, и это превращение в свою полярность удивило его. Обнаружилась сцена, которой он раньше никогда не видел, и под электрически-барабанную музыку, в красных, синих, желтых вспышках какие-то девицы в символических трусах, напоминающих обобщенный контур летящей чайки, извивались и прыгали, каждая вокруг своего шеста. Тряслись и болтались их сиськи. Орала и вспыхивала музыка, колошматила по глазам, по ушам, по башке. Народ поддал, разошелся, раздухарился, все плясали, как кому бог на душу положит. Весело орали друг другу в грохоте. Официантки, выделяясь строгими облачениями и почтительными лицами, лавируя подносами, сновали туда-сюда, умудряясь не терять при всем этом своего офисного достоинства. Или стюардессного.

Он сидел за столом и ненавидел. Ему бог на душу ничего не положил. Опять. Ненавидел это все, этих всех. Много раз он

командовал себе: давай, вали отсюда, но зад его точно прирос к комфортабельному стулу. И куда делся его родной офис? Пришлось брать еще «Гиннеса», чтобы ненавидеть меньше.

А эти веселятся себе. Заслужили. Такие все «успешные», «состоявшиеся» и «самодостаточные». Роют, роют, кроты… А теперь – отдыхают.

Он роет и роет, покорный судьбе,
А выроет только могилу себе.

Он не стал додумывать, насколько к нему самому это относится…

Пошел в толчок и у входа налетел на одного, - грубо так, нелепо. Неужели опять? Он до визга испугался драки – не физического ущерба, а идиотизма. Ничего. Обошлось. Осклабились друг другу.

Испугался идиотизма. Да, испугался. До визга. Минута слабости. Час слабости. Сутки слабости. Год, десять лет, сто лет слабости.

…А потом он уже никого не ненавидел. Он тупо сидел в грохоте и вспышках. Попивал, подливал. Не сильно он был пьян, нет. Просто устал.

Северное озеро. Лес вокруг. Все берега обступил камыш, целая его широкая кайма, обобщенно повторяющая озерный контур. Гуляет ветер. И небо и вода с о с у т г л а з а с и н ь ю. Такая синева – разве снилась только. Ветер гнетет шумящий камыш к воде, к волнам. Волны набегают и расходятся с такой силой и страстью, что ему кажется, будто они накатывают все ближе, ближе, вот они у самого горла и все продолжают накатывать, и ему ничего не остается, кроме как глотать их, он глотает, глотает их, булькая, но это выше его сил, их слишком много, он захлебывается.

Пришел в себя.

Окинул широким круговым взглядом сосны вокруг.

…и плещет, плещет у самого горла, самого сердца…

Ни с того, ни с сего он расчихался, и один раз, бллин, прямо в пепельницу чихнул. Тьфу ты, твою мать, матюгаясь, он утирал и утирал свою харю, всю обрызганную табачным пеплом.

Все. Хватит.

Девушка, счет, пожалуйста, сказал он в гремящую элекртическую темноту.

И вдруг понял, что сейчас его никто не услышит.

Позвольте… Чтобы он сказал, а его не услышали? Так не бывает.

Он попробовал позвать погромче, почти заорать, но и это было так же бесполезно. Орать, чтобы его услышали, а не чтобы, кому он орет, как следует услышал.

Он вдруг почувствовал, какой он на самом деле маленький и слабый.

Нет уж, хрен вам!

Он встал и пошел прямо в толпу, лавируя в ней, но не так чтоб очень, высмотрел официантку, и проорал ей прямо в ухо. Она, смешавшись, начала что-то говорить, но он сказал:

Нет, прямо сейчас. Без сдачи. Спасибо. Вы очень любезны. Всего хорошего.

И он ушел.

Вышел на улицу. Минута, или сколько там было, слабости, окончилась.

Опять начал падать снег. По площади он вышел к другому арчатому, стрельчатому собору.

Кто строил этот собор? Кто эти люди? Неизвестно. Их имена ушли в камень.

Было темно. Но небо почему-то белело в вышине, как листок бумаги в сумраке. Он не понимал, почему сейчас так поздно. Вроде времени прошло… Но был несомненный вечер.

Этот собор был одним из его любимых.

Он увидел спичку, лежащую у него под ногами, на грязной мостовой. Она воззвала к нему: смотри, я рождена, чтобы сгореть, но мне суждено сгнить! Помоги мне! Он кивнул ей, поднял. Серный

наконечник спички весь раскис, уже ничего им не зажжешь. Он достал зажигалку, зажег спичку. Подождал, пока она сгорит. Все. Теперь она обретет покой.

А соседство у него было то еще.

Сальноволосые и их со́ски.

Импровизированный, хоть и возобновляемый каждый вечер, барахольный рынок. Бабуси с пивом и сигаретами. Пропитые, драные мужики с чем попало: с утюгами, пассатижами, штанами, книгами. Яркие, светящиеся в темноте марафетом и тряпками шмары, с визгливыми голосами запевал-зазывал из фольклорного ансамбля. Но как-то эстрадного задору мало, сварливой торгашеской нахрапистости больше.

Какие-то подозрительные типы, рыскающие, вырыскивающие непонятно чего.

Ночная мразь.

Как-то неприятно было среди них. Повеивало опасностью.

Таким, как я, хуже всего. Уголовника не уважают, но его хотя бы боятся. Почтенного отца семейства, честного труженика не боятся, но зато уважают. И только таких, как я, и не боятся, и не уважают. Есть только один подобный тип — бомж.

Но я таки заставил себя уважать. Теперь любой жлоб меня уважает. Если не верит, - пусть посмотрит на мою машину!

Сальноволосые облюбовали себе местечко в ночном теньке неподалеку от его любимого собора. Несколько небольших их кучек. Худые, замкнутые, в майках, в обшарпанных джинсах. У одного была гитара, он, почти уронив на нее голову, мелко перебирал струны и чуточку поводил головой, видимо, что-то себе напевая. Остальные молчат, как мумии. Полудохлые какие-то, как осенние мухи. Другая кучка была тиха, но все-таки погромче, там передавалась из рук в руки бутылка пива. Одна на троих? Хм…

Впрочем, среди всех выделялась толстенная деваха, прыгающая, трясущая плотным, упругим муссом своих телес, возбужденно перебегающая от одной кучки к другой, непрерывно что-то

тараторящая. Что она говорила, он не разобрал, да и голос ее слышать было противно. Опять, что-то лубочное в ней – толстуха-баба, орудующая ухватом. Перепоясана какой-то помойной курткой с торчащими рукавами, какой-то дважды просроченной гуманитарной помощью. Тьфу...

А может, подойти к ним? Выпить, скажем, предложить. У них денег-то – кот нассал. Дикая пруха! А там потолковать о том, о сем. Hell’s Bell’s! RIDE TILL YOU DIE! Впрочем, не их, кажется, фишка. Ну хорошо, старое доброе MAKE LOVE, NOT WAR.

Но не поведутся они на него. Вот уже начинали поглядывать с настороженностью, с неприязнью. Мухи-мухи, а что-то видят. Не возьмут они у него денег, не поверят. Поганку какую-нибудь заподозрят. Подлянку. Подставу.

Срань, еще раз само собой подумалось. Джимы Моррисоны, Джоны Ленноны. Один Джон Леннон, а остальные – полюбуйтесь… Впрочем, КПД один к миллиону – приемлем, должно быть…

Вспомнил о брате, и как обжегся.

Так, спокойно… Я все помню.

Чуть подальше темнел свернувшийся бомж.

Перевел взгляд на свой собор, чтобы передохнуть, и вдруг показалось ему, что готика раннего собора стала пламенеющей, да не каменным кружевом, а огнем, собор пылал, треща, как деревянный, пылал и валился, рушился… Ему захотелось схватиться за что-то, но не за что было, но…

Фу, черт. Покажется же.

И он пошел, попер отсюда. Куда? Лишь бы не домой.

…Он уходил, уходил в дебри города, втискивался в них, чтоб никто не нашел его, чтобы сам он себя не нашел. Ехал на метро, пересаживался. Потом опять шел пешком. По дороге выпил две бутылки пива, а то голова болела от старого. То он был среди людей, среди толп их, косяков, хороводов, то почти в полном безлюдье, то весь охваченный, поглощаемый светом, то почти во мраке, то по мостовой, то по суперасфальту. Уходил и уходил.

И вдруг он оказался.

Очутился.

Все стало.

Странное какое-то место. Все освещено каким-то складским, пакгаузным светом. Освещено плохо, порой попадаешь в полосу темноты. Бесшумно. Из чего сделаны дома? Не то из сырого, заплесневелого камня. Не то из ржавого индустриального железа. Ржавчина — железная, плесень — каменная. То рельсы зачем-то торчат из стен, то балки. Постойте. В стенах нет окон. Он ходит промеж глухих стен, ржавых, грязных. Наверно, все-таки окна начинаются где-то высоко, но они, похоже, только электрически коптят еле-еле. Одни глухие стены. Людей не было. Впрочем, остановившись, прислушавшись, он услышал, как регулярно падают капли. Сталактиты, сталагмиты… Капли, похоже, какие-то промышленные, отходы чего-то. Он стал опасливо косить вверх, чтоб на него не попало.

Он ходил и ходил. Курево кончилось. Стало холодно. Улицы все одинаковые, хоть меть их. Да нечем метить, да и слишком их много.

Время, разумеется, куда-то кануло, как только он погрузился в сплошную одинаковость.

Никак не выбраться.

Вдруг ему послышалось, будто открылась форточка. Нет, не послышалось. Семейный скандал. Багровая от кухни жена ругается с багровым от портвейна мужем. Вон его голос, вон ее. Голоса вспыхнули и пропали быстро, он даже услышал, как форточка захлопнулась, бухнув.

И тут же мимо него быстро протопала толпа индокитайцев, прокатилась пронзительно мяукающим клубком. Видно было, что здесь они живут, все хорошо знают, во всем хорошо разбираются.

Но опять все стихло. Опять он среди улиц, среди стен. Как и не было ничего.

Вдруг путь ему перегородил старый автомобиль, один край капота продавлен, другой задрался; и теперь автомобиль - как башмак, который просит каши. До сих пор этой железной рухляди он

не видел. Значит, он все-таки куда дрейфует, не топчется на одном месте.

Прошуршала о каменный пол улицы крыса, он даже на мгновенье поймал ее глазами, мгновенно скрывшуюся. Передернуло.

Чуть не загремел, споткнувшись о закрытый люк. Посмотрел дальше. Есть и открытые люки. Света мало, порой он оказывался в полной темноте, и приходилось пробираться боком, нащупывая почву ногой.

Неожиданно уперся в свалку. Какие-то арматурины, какие-то чугунные уродины, промышленные монстры, потроха каких-то других, больших монстров. Или потроха потрохов.

Из-под свалки мирно тек гаденький ручеек, видимо, из каких-то химотходов.

То и дело капает вода.

Опять свалка.

И вдруг из-за угла повалила целая куча мрачных подростков, глядящих исподлобья, глухо переговаривающихся. Со скинутыми с плеч, висящими пестрыми подтяжками, с обвисшими штанами, в цветных рубахах. Сразу было видно, что лучше их не трогать. Хотя ничего явно агрессивного в них не было.

Напрягся, минуя их. Еще больше напрягся, угадав на себе два задержавшихся взгляда. Так можно доходиться. Чужой, явно чужой он здесь фрукт. Кто-нибудь догадается пощупать его на предмет денег.

И опять свалка. Ручеек. Эта та самая, первая свалка.

Он вышел на перекресток, то ли знакомый, то ли нет. И увидел настоящую, живую машину, приближающуюся к нему. Вот и прекрасно, тачку возьму. Но это оказалась машина Служба Охраны Порядка. СОП.

Он опять напрягся. Только по-другому.

Подкатили, светя, слепя. Вышли двое, в темном их, в зеленом, - рубашка и штаны, несмотря на холод - один помоложе, а другой, похоже, старшой — могучий мужик уже в годах, пузо, седина — ему они дьявольски шли, да еще и кобура с пистолетной ручкой, да еще

наручники на поясе, больше даже, чем пистолет, отбивающие охоту шутить.

А ты что тут потерял? таковы были первые слова старшого. Третий раз тебя уже тут вижу.

Третий раз, оказывается…

Он состроил улыбочку:

Да так, гуляю себе понемножку, чуть не добавив почтительно-фамильярно-ненавистливое «начальник».

Документы, объявил старшой.

Да у меня ничего нет, визитка разве, и протянул визитку.

Старшой взял ее, мельком оглядел, протянул назад, еще раз глянул на него.

Приключений на свою жопу ищешь? Так найдешь!

Все окей!

«Окей»… Ладно, садись. А то в трусах будешь обратно добираться.

Если повезет, усмехнулся который помоложе.

Вот именно.

Водила соповской машины распахнул дверь изнутри. Он понял, что хватит валять ваньку, а надо воспользоваться предоставленной возможностью. Ему здорово повезло.

Носит их, понимаешь, по ночам, а потом… пробормотал старшой, влезая в машину.

И они поехали.

Пардон… а-а… закурить есть? обратился он к безучастному водиле, жующему жвачку. Нахальство, но уж больно курить было охота.

Есть… водила протянул, не глядя на него, вскрытую пачку.

А курить можно?

Можно…

И поехали… Темнота поначалу, только светят какие-то электрокоптилки. Это там, где блуждал он, те же места. Ехали долго, пока выбирались из них.

Но вот враз, без предупреждения, ворвались в шум и простор широкой, многополосной улицы, в многоцветный, многоэтажный свет от вывесок и реклам; толпы бродят стадами по широким тротуарам. Он и не знал, что это за улица. Домов такой конструкции он в городе и не видел.

Беспрерывно работает рация. «Второй, второй». «Седьмой, седьмой». Сквозь сипенье и треск сурово-озабоченные голоса переговариваются короткими, однозначными фразами. Все время где-то что-то происходит. Но рацию никто не замечает, так, видно, и положено, чтобы она трещала и малоразборчиво бредила разными голосами. Никто не замечает и его.

Долго ехали по этой большой шумной улице. Не знает он свой город. Да и не хочет знать. Да и не дай Бог его знать.

Долго едем-то как. Опять въехали в глушь. Остановились. Другая точно такая же соповская машина. Старшой вышел, хлопнув дверью, подошел к другому старшому, тоже мужику хоть куда. Стали говорить о чем-то. Один раз тот старшой что-то сказал, кивнув на него, оба засмеялись.

Соповская империя.

Тронулись, поехали.

Он задремал.

Опять вроде остановились… Долго на этот раз. Вроде, около конторы какой-то… Тронулись… Водила крутил и крутил баранку, прекрасно зная, куда он едет, зачем. Ни темень его не смущала, ни яркость.

…Опять, кажется, вокруг куча огней. Он вскинулся.

Что-то долго едем, сказал он.

А все уже. Сейчас у метро тебя выбросим, сказал шофер.

Они уехали.

А ничего ребята эти сопы. Какие они ладные все, крепкие. Боевое братство. Когда-то оно было и у него. Быча, Парамон… Но он предал боевое братство. Он предпочел стать *интеллектуальной бестией.*

Он не мог не чувствовать признательности по отношению к сопам…

Но куда идти? Опять домой?

Он посмотрел на метро.

И несколько часов до сна показались ему такими бездонными, незаполнимыми, некончающимися, что его едва не бросило в пот от страха и начинающей уверенно крепнуть тоски. Боже ты мой… Что ни случись — тут же оно канет, и новая бездонность будет смотреть на тебя.

Впрочем… Это место он знает. Да. Пока что еще не конец.

Тут неподалеку есть кафе, где водится нужная ему рыба. Ее можно взять за розовые, нежные жабры и понести в вытянутой руке, сладострастно, притворно, покорно извивающуюся. Кафе, кабак со шлюхами.

И ему до смерти захотелось бабу. Ну просто труба как захотелось, хоть вой. Как всегда — накатило-обуяло. И это было спасением.

Здесь он был очень давно. Очень давно он заказывает шлюх только по интернету. Но, может, и сейчас оно функционирует.

Так и оказалось.

Полумрак. На столах желтело и пенилось пиво. За ними сидели кирнутые ребята без претензий. Бармен, симпатичный пацан, расслаблялся за стойкой, покачиваясь в такт плееру. Позади него все уставлено разноцветным бухлом всех мастей и рангов. Из глубины доносился бильярдный стук. Покачивался табачный дым.

Так, вот оно. Две за стойкой. Блондинка и брюнетка.

Он подсел к блондинке. Он ей широко улыбнулся и вдруг почувствовал, что зубы у него золотые, как у урки.

Сели в такси, поехали. Он отвез ее в свою комнату, что было дороже, чем в заведении. Крепко дороже. Но какая разница?

Но совершенно неожиданно дома его встретили поклонницы, числом ровно семь. Они воздевали к нему руки и взывали к нему тихими, чистыми голосами.

- Какой вы желаете телефон? Мы знаем, с вашим телефоном случилась беда – он упал со стола и разбился - и вот мы здесь.

- Мне кажется, я знаю, какой. Желтый.

- Нет, Лиза, перестань: зачем ему телефон под цвет пепельниц? Конечно же, голубой, - само небо.

- Светик, причем тут небо? Ему нужен красный, под цвет огня.

- Нет, Ириша, ему нужен белый, - это цвет абсолюта.

- «Абсолют» прозрачный, - ответил он.

- Ахх… - обожающе рассмеялись поклонницы.

- Девушки, спасибо, конечно… Но давайте в другой раз. Я с дамой, видите…

Зардевшись, девушки ретировались. «Да, конечно», «ах да, конечно» - долго еще слышалось за ними.

Кофе хочешь? - сказал он даме.

Она замялась. Ну, нет, и не надо.

Он чувствовал себя старым сифилитиком, пробующим очередную девственницу. Что до нее, то она была не девственницей, а матерой блядиной. Но неважно… Хотя бы в мечтах… Гру-у-у-ушенька… Изнасиловать, растлить, осквернить… В жизни бы он не посмел, презирая себя за то, что не посмел. У нее холодные руки. И ноги.

Он ласково, медоточиво сюсюкал. *Педиатр и младенец*, он вдруг вспомнил. *Детский врач Васса Максимовна*. *Что это так блестело у нее в кабинете? На следующей выходите? спрашивала мать. Выходим, отвечали. И они выходили. А иногда отвечали: не выходим. Но они все равно выходили. Зачем тогда спрашивать? он не понимал. И их ожидала златозубая Васса Максимовна. Блестели ее зубы, блестели шприцы, всякая блестящая, холодная медицинская дрянь, наводящая жуть*. *Прикосновение этой ее холодной слушалки к груди.* Сюда, пожалуйста. На животик, пожалуйста. Ножки… У-гу… Молодец… И опять издевательски заскрипела кровать (когда ж найду время выбросить ее?). Под его пахом потрясающе пружинила подушка ее задницы. Что-то не до конца вошел… Что за…? Нет. Вошел; мягко пролез до самого предела. Он поймал ритм. Теперь по прямой. Она вздыхала,

всхлипывала и вскрикивала. Они хорошо притворяются. Он знал это, но возбуждало страшно. Он оглаживал ее плечи, впивался пальцами в предплечья. Он кончил со скрипом, с рыком, с мыком, но слишком мало было в нем спермы, слишком мало, не доросить ее, не дооплодотворить, не дообладать. Это было опасно, но на этот раз он договорился, переплатив, без презерватива. Чтобы кончить в бабу, а не в резину. Без презерватива, за дополнительную плату, она трахалась, конечно, не только с ним. Она лежала на животе, он лежал на ней и мелко целовал ее волосы, горячее лицо, полуповернутое к нему на подушке… Он был благодарен ей… Она дала ему несколько минут избавленья…

Она побежала в душ, он лежал на спине. Стекало, медленно накапливаясь… Как быстро она холодеет. Он ни о чем не думал. Он вообще не думал.

Он отвалил ей чаевых размером с сам гонорар. Ему ж это ничего не стоило. Но как она обрадовалась! Вы бы видели, как она обрадовалась!

Прихорашивается, трогательная челочка.

А потом мгновенно, по-солдатски собралась, прищелкнула сумочкой, прицокнула каблучками. Чего так быстро? Чайку, может, кофейку? Нет-нет-нет! Она даже чуточку заметалась, не сообразив сразу, чего бы соврать. Что ж, не смею задерживать, сударыня. Хмыкнул животом. Провожая, чуть привзял ее за плечо, такое мягкое, что у него горло, совершенно невольно, перехватило от нежности. Но плечо стало таким от подложенной туда мягкой подушечки. Гораздо нежнее, чем сама плоть. Он убрал руку, он как-то растерялся, имитация оказалась лучше, чем образец…

Дверь захлопнулась. Стало тихо.

Пошел в душ. Швырнул в стирку ее полотенце.

…опухоли сосков…

…семга влагалища…

У всех у них сухая, очень сухая кожа. Порой кажется, что она шуршит, сейчас зашуршит. И сиськи мягкие, теплые, как подплывший пластилин.

Он давно трахался только пьяным. Он презирал тех, кого мог трахнуть, и с бешенством думал о тех, кого не мог. Переворачивал на живот, чтобы не видеть лицо. В воображении он насиловал их, просто трахаться, не насилуя, он не мог.

Никакое усилие воли не поднимет *его*. Наоборот — тут надо расслабиться. А вот расслабиться-то, *отдаться* он как раз и не мог.

Чтобы трахаться, надо хоть чуть-чуть верить той, кого трахаешь. Он не верил никому, не мог поверить.

Трахал каждый раз разных. Он не хотел видеть ее второй раз и не хотел, чтобы она видела его. Дело даже не в этом. Второй раз одна и та же его не возбуждала. Он уже отметился там, и больше она была ему не нужна.

Не трахал красивых. Одну такую он один раз даже недотрахал. Такую красавицу самому добыть честь — а за деньги… Эта мысль мучила, мучила его. Плюнул зло и вытащил посередине. Ты чего? Да так, настроение что-то пропало. Да ты не думай, все нормально, у меня бывает.

Опустите меня, люди добрые… Об одном прошу, опустите… Я опускал других, теперь вы опустите меня.

Он стоит раком и его жарят… жарят… жарят… Он смотрит в пол. Капля пота упала со лба на паркет. И еще одна капля рядом. И еще одна. И еще. Как капли воска со свечи.

Но этого не было. Этого чуть было не случилось, но в последний момент он развернулся и дал мерзкому пидору в торец. Этого пидора он, пьяный, сам приволок к себе домой, чтобы тот его отодрал, но в последний момент

схватил пидора, ладони за зубы, слюни, противно, вытер по-блатному об него самого. Я бы вас, пидоров, живьем бы закапывал! Пидор гнойный! Тот испугался, будто сейчас его будут резать, может

и вправду так подумал: прости отец, отец, отец! Все скулил, ныл, выл: отец, отец, отец; вдвое старше него.

Ну хрен с тобой, иди. Повезло тебе.

Хотел, чтобы его отымели, но вместо этого сам, так сказать, отымел. Как всегда.

Дал пидору на прощанье еще хорошего поджопника, когда тот, торопясь, бочком, уходил, исчезал, стушевывался

Все. Можно и спать ложиться. Длинный день был сегодня.

4.ПРОПОВЕДЬ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Или исповедь?

Вы когда-нибудь видели покойника в гробу? Кто видел, тот не мог на секунду не представить себя таким же: холодным, покладистым, одетым без пылинки.

И ты инстинктивно шарахаешься от покойника, как лошадь от мертвеца. О чем ты думаешь? Ни о чем, ты просто не хочешь, не соглашаешься, НЕ ПРИЕМЛЕШЬ. Даже не инстинкт, - рефлекс. Рефлекс изначальный, безусловный.

Вы когда-нибудь видели своих родителей? А вообще, взрослых? Беглого взгляда на них достаточно, чтобы установить, что смерть наступила много лет назад. И ты шарахаешься от мертвых — как лошадь. А они презрительно называют нас «инфантильными», озабоченно совещаются, что бы такое с нами поделать, потому что нельзя же так. Смешно — мертвые судят живых. Я бы назвал их даже не мертвыми, а роботами, настолько иногда кажется, что они никогда и не жили, но я все-таки помню, что они жили, как это ни невероятно. Теперь у них двадцатичетырехчасовой цикл вместо жизни.

Инфантилизм — это всего лишь инстинкт самосохранения. Защита от смерти. От «растворения в безличном», экзистенциалистически выражаясь. Иногда что-то в этом роде называют «романтическим протестом», но я предпочитаю называть это «инфантилизм» - так называют нас наши враги. Так же, как аристократишки называли санкюлотов санкюлотами, думая, что оскорбляют их. Но санкюлоты сказали: да, мы - санкюлоты. Испанская рвань называла гезов гезами, так же думая оскорбить. Наивные… Нам говорят: вы — инфантильные. Да, мы — инфантильные. Но мы - есть. А вас — нет. Потому что можно быть или ребенком, или трупом. Третьего не дано.

Поэтому я проповедую ВОИНСТВУЮЩИЙ ИНФАНТИЛИЗМ.

Главное человеческое качество — н е н а с ы т н о с т ь. Человек, душа которого способна насытиться, достоин презрения. Человек, с о г л а с и в ш и й с я на что-либо, — потерпел поражение. Вечное отчаяние, вечное страдание — только это достойно человека. Счастье — удел ничтожеств. В жизни ничего нельзя ни купить, ни продать. Можно только продешевить.

Вообще, настоящий человек — это тот, который не знает, почему он грустен, а почему весел. Человек же, который это знает — это, скорее, какая-то машина, управляемая при помощи кнопок или, там, ниток.

Поэтому я проповедую СТРАДАНИЕ и НЕПРИЯТИЕ.

Но, не насыщаемые ничем в этом мире, мы можем насытиться на мгновенье в мимолетной грезе. В экстазе или припадке. В озарении. В музыкальном моменте.

Поэтому я проповедую ЭКСТАЗ.

Я проповедую БОЛЬ И СТРАХ.

Потому что именно в боли мы особенно отъединены от мира. Боль очерчивает вокруг нас неприступный рубеж, отгораживает нас от всего остального, от всего мирского мусора. Напротив — в радости мы растворяемся в нем. То есть немножечко умираем. А мы хотим быть максимально живыми л ю б о й ц е н о й, максимально чувствовать свое «я», даже страдающее. Только боль (и еще страх) дают нам это.

Примечание: когда боль и страх чрезмерны, происходит обратный процесс, «я» умирает. Так что не увлекайтесь.

В свете только что сказанного понятно, почему я проповедую ОДИНОЧЕСТВО. (В общении мы тоже умираем).

Вторая мировая война. Победа над нацизмом ценой бесчисленных жертв. Умерло 50 000 000.

Умерло 50 000 000.

Но *как* умерло! Вы видели когда-нибудь военную хронику? Все видели. Как прекрасен бомбардировщик. Как прекрасен танк. Нет, особенно бомбардировщик, особенно, когда снято прямо оттуда, когда бомбы сыплются, как семечки с ладони и отзываются разрывами где-то там, на далекой земле. Семена, дающие мгновенные всходы.

А колонны пленных, снятые опять-таки сверху? Что-то величественное, библейское в этом есть, неужели вы не чувствуете? Прямо лезут в голову слова: «пленение», «исход».

И ты чувствуешь: да, все осталось, как прежде, и мы не хуже, не менее ВЕЛИКИ, чем те, которые жили тогда, не одна у нас реклама стирального порошка по телевизору, прав, тысячу раз прав был Экклезиаст, действительно солнце и заходит и восходит, но в ЭТОМ-ТО И ЕСТЬ ВЕСЬ КАЙФ, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ! Ничего не меняется, а значит мы по-прежнему живы, мы по-прежнему те, и еще, авось, сгодимся на материал для другого Ветхого Завета… Особенно мы, за последние столетия буквально обкормленные всякими новшествами, которые просто-таки уже больше в глотку не лезут.

КТО МЫ ВСЕ? МАТЕРИАЛ.

А вот рассказывали летчики времен Второй мировой войны: летишь над Европой, и темным-темно. Темная, вымершая Европа. А вот пошли огни, - значит пролетаем над нейтральной Швейцарией. Чтобы возник этот эффект леденящего кровь ВЕЛИЧИЯ, нужно, чтобы в Европе разразилась опустошительная война.

Читал воспоминания одной тетки, она ехала в грузовике, в колонне грузовиков, и они попали под бомбежку. Казалось бы: рвануть бы всем вместе отсюда? Ан нет: колонна грузовиков не ускорилась,

но — замедлилась. Чтобы, если один подобьют, он бы и остался спокойненько на месте, а не врезался бы со всего маху в следующий, а тот в следующий и не накрылась бы вся колонна. И вот, разрывы кругом, а колонна, подчиняясь этой адской, противоестественной логике, ползет, ползет, ползет…

Как вам?

Я рыдаю, но меня бросает и в священный трепет: только так я чувствую ВЕЛИЧИЕ И ТРАГЕДИЮ жизни! Не убогая работа, не убогие секс с алкоголем. Не Чехов и не Чайковский.

Поэтому я проповедую ВОЙНУ.

(Между прочим. До сих пор мальчиков воспитывают воинами, даже в нашем сверхгуманном (по своим понятиям, не по своему поведению) обществе. Воспитывают воинами, а потом не дают воевать. Заставляют быть болванами, сидящими по конторам. Это называется: "взросление".

Зачем не запрещают им играть в войну и во все такое? Покупают им пластмассовые автоматы? Покупали бы уж сразу пластмассовые телевизоры, пластмассовые газеты, пластмассовое пиво.

Я был хорошим мальчиком. Я верил взрослым… Ну да ладно).

Все сейчас смелые — плюрализм же — признаваться в своей тупости и духовном убожестве. Человек, гордясь собой, может сказать: «Джоконда — говно». Или: «Хорошо темперированный клавир — говно». (За последнее высказывание я бы повесил высказывающего за ребро. Без шуток. Один раз я такое слышал. Взял бы и повесил, и рука бы не дрогнула. Не за слова, обращаю внимание, — за *мнение)*.

Впрочем, что же это я! Сам себе противоречу. Будем считать, что я ничего не говорил. Я делаю следующий шаг по сравнению с современным плюрализмом — пусть нам будет нестыдно признаваться не только в том, что мы кретины и невежды, но еще и сволочи. «Этический плюрализм», если угодно (я не знаю, что означает сочетание слов «этический релятивизм» - по-моему, это просто бессмыслица). И я признаюсь, что я кончаю от слова «Освенцим». Я не претендую на смелость. Никакой смелости для этого не нужно сейчас.

Гитлер был великим человеком. Он обеспечил работой писателей, художников, философов – а все мы и то, и другое, и третье - лет как минимум на пятьдесят вперед. Ужасаться, рыдать, проводить ночи в бессонных размышлениях на тему, как такое стало возможным, - да еще к тому же среди одной из величайших европейских культур, - переоценивать все ценности – вот что он нам дал; он подарил нам грубое возбуждение чувств – а это единственное, чего мы по-настоящему жаждем. Неважно – приятное возбуждение, неприятное возбуждение – лишь бы не ненавистная филистерская скука.

Гитлер был великим человеком. Это был слабый человек, который сказал себе: я слаб, но хочу быть сильным и стану. И стал. Такую силу я уважаю больше всего – не силу рода, крови, касты, где индивидуальности просто нет, - аристократы сильнее именно там, где они теряют индивидуальность, а где не теряют – они становятся такими же, как все; нет, не такую силу, а силу одной голой индивидуальности, у которой нет другой опоры, кроме как она сама. (Что такое сильный? Сильный – это тот, кто победил. Неважно чем, - кулаком или вонью, сбивающей противника с ног. Других критериев силы нет). А что такое храбрость солдата, воина? Это та же аристократическая храбрость, храбрость кучи, стада, воли которой воин является лишь медиумом. Все мы знаем о многих примерах, где храбрые на войне офицеры при других обстоятельствах вели себя очень так себе. Не хочу на них клеветать – вели они себя так, как большинство бы повело на их месте, не хуже, но… Но для воина, для орла! Слабовато.

(Аристократы думают, что они имеют какое-то особенное право. А мы-то знаем, что никаких прав ни у кого нет. Есть лишь то, что лично ты выдрал зубами).

Гитлер презрел собственную слабость. Он сказал себе: да, я титулярный советник. Но я смогу. И смог. Он проиграл? Но как проиграл. Да и так только кажется. Он же был героем трагедии. А герой трагедии не может проиграть.

Гитлер проиграл, но великий германский дух *не* проиграл. Разве что сейчас, когда американские лавочники, мелкие и крупные, сделали немцев подобными себе. Неужели и вправду им это удалось?

Толпа мстит Гитлеру. Она не хочет признать *великий нравственный подвиг* Гитлера - Башмачкин прикованный стал Башмачкиным освобожденным. Очень правильно его пытаются сделать героем не трагедии, а фарса — это единственное действенное средство против него. Но если так, то и война против него — фарс, оборона Москвы — фарс, Сталинград — фарс, холокост — фарс, Белоруссия — фарс. Я не понимаю, как может быть по-другому.

(Ведь воевали не с нацизмом. Или вы думаете, что с нацизмом? Бросьте. Любую идеологию можно препарировать до неузнаваемости. То «мировая революция», то «мирное сосуществование». И нацизм можно подмалевать во что-то не очень приятное, но достаточно прагматичное и не склонное к особым эксцессам.

А вот Адольфа Гитлера — не препарируешь, не подмалюешь. Поэтому и воевали - с НИМ. Поэтому и победили — ЕГО. Физическое лицо).

Несколько раз я слышал, что Гитлер был импотентом. Откуда это может быть известно? Это ведь не шрам через все лицо. Свидетельств мало, они могут быть предвзяты. Задним числом очень трудно это определить, если вообще возможно.

Хорошо, ну а что вы, неимпотенты, можете сделать со своей неимпотенцией? Прыснуть немного кефира в слизистую дырку какой-нибудь Дуньки? Негусто.

Нет, не сиятельный герцог, но вождь народного восстания — Пугачев, Уот Тайлер, Томас Мюнцер — мой идеал. Ты, аристократишка, думаешь, что ты какой-то особенный? Так вот, все люди *одинаковы*. Ты об этом забыл? Напомним. Вилами в пузо.

Братья и сестры, доколе?! Бунт! Месть! Месть всем и всему. Беспощадный бунт. Бессмысленный ли? Так сказал наш великий поэт, хотя и в прозе. Прав ли он был? Нет. Бунт всегда имеет смысл бунта. Он не нуждается ни в каком ином смысле. «Бунт — дело

правое». И что, что победивший вождь будет новым герцогом – какая разница. Мы и против него поднимем восстание.

Гроздья гнева.

Кара.

Всепокайтеся!

Гитлер.

Возмездие.

«Еще чернее и огромней Тень люциферова крыла»…

«Каждому – свое». «Труд освобождает». Что-то, пардон, ПРОТЕСТАНТСКОЕ в этом есть.

Гитлер, Гитлер и опять Гитлер.

Еще раз, я проповедую ВОЙНУ.

Ибо война и только война способна породить ТРАГЕДИЮ.

Война с собой, война с другим, война всех против всех, одного против всех и всех против одного, война даже не всех, но всего.

ВОЙНА!

И, как венец всего сущего – ВЕЛИЧИЕ! Вот зачем нужна война, а потом трагедия. ВЕЛИЧИЕ порождается ими и венчает их.

Вы можете представить себе ВЕЛИЧИЕ без ТРАГЕДИИ? Я – не могу. А зачем жить, если в жизни нет величия? Смотреть психологические мелодрамы? Читать «драмы» о потерях работы и разводах? Милые путевые очерки и пейзажные зарисовки? Вздохи об ушедших молодостях и первых любовях? О любовных треугольниках, о тещах и свекровях? Меня увольте.

Я не желаю счастливого будущего человечеству. Это счастливое будущее будет временем скуки, застоя, прозябания.

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ – ВЕЛИЧИЕ. ВСЕ, ЧТО ПРИВОДИТ К НЕМУ – ОПРАВДАНО.

Как говорил мой любимый афорист Гераклит – хотя он был брюзга:

«Следует знать, что война всеобща и Правда - борьба».

Черт, чуть не забыл! Бес попутал, простите. Вот что я забыл вам сказать:

Ни в коем случае нам не надо избавляться от химеры, именуемой совестью! Ни в коем разе! Надо оставаться очень совестливыми и очень жалостливыми — кроме шуток! Иначе мы потеряем трагедию. Война для *абсолютно* безжалостного — те же пиво с воблой. Это — важнейший тезис моей проповеди, и я надеюсь, что вы оцените его по достоинству.

Да, еще немного о войне. Я обращаюсь к самым юным моим слушателям а также к не в меру эмоциональным. НЕ пытайтесь *сами* участвовать в войне. Там такого насмотришься, на этой самой войне, что вся ее героизация и эстетизация полетит к черту (да еще могут взять и убить, не спросив вас). Не участвуйте в войне — это совершенно не нужно. Наблюдайте за ней. Впитывайте ею, проникайтесь ей. Надо питаться чужими трупами, а вовсе не стремиться самому стать трупом (чтобы тобою питались другие).

Я проповедую БОЛЕЗНЬ.

Я уже сказал, почему. Но есть крайне важный частный случай.

Из всех болезней для нас важнейшей является ХРИСТИАНСТВО.

Христианство. Какая это деградация по сравнению с античностью! Малые сии за себя постояли. Не стали, подобно дуракам-грекам, лезть вверх, а правильно рассчитали свои силы и сделали проще: стащили Бога вниз; к себе, в малярийное свое болото. Стащили за штаны и заставили участвовать в земном их говне. Чтоб и Бог был — наш парень. И все; все теперь схвачено, последний гвоздь вбит.

И, тем не менее, почему я так люблю христианство, почему не могу жить без него, хотя я АНТИТЕИСТ? За этот гениальный садизм, за эту лазерную ненависть, за это изнасилование, поругание в человеке всего человеческого. Нет такой вещи в человеке, которой бы, со своим гениальным чутьем, не обнаружило христианство, не оболгало бы, не осквернило, не изнасиловало и, вдоволь натешившись воплями и стонами жертвы, не убило.

Ницше написал «К генеалогии морали». Это хорошая книга. Но сам факт ее написания противоречит ее основной идее. Идеи этой

книги не могут быть высказаны — сам факт высказывания их разрушает. Истинно свободному человеку не нужны объяснения, потому что объяснения — это оправдания.

Христианство — это как наперсток. Выиграть нельзя, можно только проиграть. Единственный выход — не играть в христианство. Это — инструкция № 1.

С христианством нельзя дергаться. Это инструкция № 2 противо-христианской безопасности, коль скоро ты уж оказался в христианстве. Чем больше ты дергаешься, тем туже затягивается христианская удавка. Ницше — задергался. И так до конца и остался рабом христианства. Спокойствие, только спокойствие. Ледяной разум и холодный душ. Диета и режим дня. Ну, не знаю — Стерна почитайте, что ли.

(Я восхищаюсь неодушевленными предметами. Они не снисходят до объяснений. Они просто нагло *есть*. Какая божественная наглость! Как, например, великолепен этот булыжник! Он просто валяется на солнце и отсвечивает. Нам, людям, далеко до него. Все мы объясняем, поясняем да доказываем.

А больше всего в мире мне нравится вселенная. Какое гигантское, какое колоссальное *необъяснение*!)

Немного личного. Почему именно он, этот человек? Я говорю об Иисусе Христе. Почему не я? Почему не много еще кто? Ведь в пророках, чудотворцах и мессиях никогда недостатка нет; неблагополучие в воздухе — и вот они, легки на помине. Целые сонмы. Я такой же, как и он, я так же сочетаю елейность с бесноватостью, во мне так же уживаются утонченность и брутальность, я так же то прельщаю, то стращаю; так же, как и он, я раскусил *малую душу*, знаю о ней все, знаю, как помыкать ею. Я бы и чудеса творил — была бы нужда.

Но, как всегда, случай решает все. Будь в нужном месте в нужное время. А кто не успел, тот опоздал.

Иисус Христос - единственный человек, которому я завидую. Человек номер один, максимум того, что может достичь человек.

Кратко подытоживая: я проповедую АНТИТЕИСТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО. Потому что вовсе не бог главное в христианстве.

Богов много, христианство — одно.

Не будем побеждать в себе христианство. Не будем пользоваться моими инструкциями. Победив христианство, мы станем свободными, спокойными, равнодушно-доброжелательными, холодно-красивыми, *благородными*. Как, прости господи, римляне какие-нибудь. А как же наша ПОЭЗИЯ? А как же наша КРАСОТА? Наша красота вся замешена на христианском навозе; наша психопатическая красота — это красота боли, страха, отчаяния, смерти; красота болезни, красота чахоточной девы; красота крови и гноя; мерзости и зверства жизни. Мы станем нищими. Мы ненавидим господа нашего Иисуса Христа. Мы ненавидим его, но не хотим — не можем — избавиться от него, потому что он — НАШЕ НЕНАВИДИМОЕ ВСЕ.

ВЕДЬ ВСЕ МЫ ЭСТЕТЫ.

Я люблю СИЛУ.

Я люблю ОТВАГУ.

Но проповедую я БЕССИЛИЕ и ТРУСОСТЬ. Потому что наш удел, удел лучших людей в мире, удел соли земли — постоянная жажда силы и постоянное неудовлетворение этой жажды. Мы бредим властью, видим себя сильными и отважными в наших горячечных видениях, - и только в таком, в постоянно чаемом и в постоянно недостигаемом виде они для нас желанны.

Мы завидуем сильным. Но мы не хотим быть ими. Потому что мы презираем сильных. Ограниченный человек может сказать, что мы притворяемся, а на самом деле хотим стать сильными, только духу не хватает. Нет-с, это только похоже на правду, но ею не является. Правда в другом — мы искренне презираем то, чего добиваемся. Так уж воспитаны. Все книжки, все «серьезные» книжки, которые мы читали — книжки про слабых или, в лучшем случае, порченых. А кем больше всего мы хотим стать? Персонажем книжки! Круг замкнулся. Мы не живем — мы смотрим фильм с самими собой в главной роли, мы не живем — мы оцениваем, оцениваем этот самый фильм. Жить не оценивая мы не умеем и не хотим. А каков этот фильм? Это фильм «серьезный» — самый высокий для нас жанр, и, что

естественно, мы стремимся быть героями высокого жанра, то есть — заморышами, червяками, клопами. Иногда мы отводим душу на боевиках, но серьезно их не воспринимаем — не хотим стать их главными героями.

Так мы и живем — с расколотой душой.

Впрочем, я начинаю повторяться. А про н а ш у красоту и н а ш у поэзию я уже говорил.

Сильный ты — это не ты. Это мертвый ты.

Есть еще оборотная сторона силы, или, точнее, сила противоположного рода, а именно — СВЯТОСТЬ. Кто такой сильный? Сильный — это человек, который идет и берет. Мы одновременно и трусливы, и ленивы, чтобы идти и брать. А вот святой — это человек, который САМ НЕ ХОЧЕТ. Он не идет и не берет, потому что не хочет этого. Так давайте и мы не будем хотеть, перестанем завидовать и вожделеть под одеялом. Нет, мы не можем. У нас не достает силы не хотеть. СИЛЫ НЕ ХОТЕТЬ — у нас ее точно так же нет, как СИЛЫ БРАТЬ. Хотеть и не брать — вот наш удел. Так мы и болтаемся между этими двумя полюсами, как самое натуральное говно.

Надо ли говорить, точнее повторять, что святого мы презираем так же, как и сильного, и в точности по тем же самым мотивам? Оставляю это для домашнего упражнения. (Сильный для нас — это нечто вроде носорога, а святой — нечто вроде баклажана).

Достоин уважения сильный. Достоин уважения святой. Только мы с вами не достойны уважения.

Хотя мы и создали целую культуру, оправдывающую наше ничтожество. Наша боязливая срединность — только она достойна человека, если судить по нам.

Альзо, так сказать, шпрах Заратустра.

Придите ко мне, вы, униженные и оскорбленные, — и вам будет НЕ СТЫДНО. Не стыдно, что вы злобны, жадны, завистливы, мелки, бездарны, уродливы, трусливы. Я понимаю, как вы устали, как вы смертельно устали все время притворяться. Так вот, со мной вам притворяться не придется. Я сам такой. Что такое грех? Грех — это

стыд. Кто не раскаивается, тот не согрешил. Кто не нуждается в самооправдании, тот прав. Вы станете бесстыдны. И вы станете безгрешны. Вы еще раз убедитесь, насколько вы красивы нашей красотой. Вы перестанете быть *слишком* одиноки. Вы перестанете *слишком* презирать себя. (Именно *слишком*, потому что иначе — вы не соль земли).

Тот же, кто не унижен и не оскорблен, ко мне не придет. Без всяких проповедей он перегрызет глотку унизившему и выпустит кишки оскорбившему. И перестанет быть униженным. И перестанет быть оскорбленным. Я ему не нужен. Сильным и смелым не нужны пророки.

Святым тоже.

…Но, может быть, и *нам, соли земли,* доступно еще кое-что? Болтание посередине — может быть и не единственный наш удел?

Презрение к себе заменит нам храбрость, а ненависть к своей слабости — силу.

Львами нам не стать — ими рождаются. Но бешеной шавкой может стать каждый.

Впрочем, как вы понимаете, это уже не моя юрисдикция…

Я осознаю, что не всем пришлось по душе то, что я говорю. Кому не понравилось, тот уже давно перестал меня слушать. А кому понравилось, тому, как говорится:

WELCOME TO HELL

В этом нет ничего страшного. Как учит нас AC/DC — Hell ain’t a bad place to be. Ведь «и меня сотворила великая любовь», разве не так?

5. НАПОМИНАНИЕ

Он лежал на кровати, как всегда, подложив под голову ладони, выставив локти. Он смотрел в пустое окно, где был только кусочек скудного межсезонного пейзажа. Окно, в которое он смотрел, было одним и тем же, и кусочек пейзажа был один и тот же. Сквозь решетку.

Опять пришел человек в белом прохладном халате.

Отречешься?

От чего?

Ты знаешь от чего.

Нет.

Ты же умный человек. Зачем тебе это?

Он молчал.

Ну так что, будем отрекаться?

От чего?

Человек в белом халате выразительно вздохнул. Пожевав губами, продолжил, всем видом давая понять, до чего ему, умному человеку, неохота произносить эти трюизмы, которые его заставляют произносить — тем более, другому умному человеку.

От того, чтобы тебе быть таким, каким ты хочешь быть.

Нет.

Значит, ты еще не понял, что такое жизнь. Жизнь любого заставит быть таким, каким она хочет, а не таким, каким он хочет.

Заставит того, который предал, сказал он севшим голосом, сглотнув сухим ртом. Он почувствовал сердцебиение и пот. Он продолжал:

Это называется — «опустить». Вопрос: опускает ли всех жизнь? Ответ: нет. Почему? Очень просто: опыт показывает.

Людей в белых прохладных халатах было много. Самые разные люди приходили к нему. Строгая сухая женщина с простым и убежденным лицом. Говорила она тихо и опускала глаза. Веселый, подмигивающий армянин. Здоровенный потеющий детина с голубыми глазами. Чья-то окладистая борода. Жизнерадостная, хохочущая, тормошащая толстуха. Чьи-то с жутковатой размеренностью цокающие

каблуки и смолкающие внезапно, от чего делается страшно. Медлительный, меланхоличный зануда, от которого долго не отделаться. Красавица с серым мглистым взором и с покачивающимися в ушах тонкими золотыми обручами. Два ученых профессора-близнеца, оба коротенькие, пузатые, лысые, бородатые. Чей-то зеленовато переливающийся, распушенный по груди и животу галстук. Волевой полковник. Мать двоих детей. Небритый нытик. Чья-то болонка на поводке, тявкающая злобно, но аккуратно и не теряя достоинства. Ласковый японец. Крепкая русская старуха. Веснушчатый мальчишка-подпасок.

Наверно, он видел в с е х людей. Все люди приходили к нему, все требовали отречься, и всем он говорил «нет». Что все оказались против него, он не удивлялся. Как еще могло быть?

И он все лежал в своей одиночной палате, прикрученный к койке больничными простынями. Он почти не мог двигаться. А они все приходили.

Его выпустили.

Он не отрекся.

6.ВИДЕНИЯ

Он почувствовал что-то острое, железное и холодное, приставленное сзади к шее. Приставили очень уверенно. Так они и стояли.

Так, оборачивайся, сказали сзади. Медленно.

Он медленно обернулся и увидел солдата в форме отечественной войны, в пилотке, и с трехлинейкой - все, как в те самые времена. Трехлинейка смотрела ему в грудь.

Чего по лесу шляешься?

Да так… Хожу… - и невольно скосил глаза на винтовку.

Что значит «да так»? Грибник, что ли? Тут человек впервые чуточку улыбнулся.

Непохож что-то, постепенно прекращая улыбаться. И вдруг вытаращил глаза:

А ну как шпион?

Он вздрогнул и начал было что-то говорить, но человек успокоительно похлопал по нему:

Шутка, шутка… Вижу, не шпион.

И опустил винтовку.

Он вежливо улыбнулся. Попытался объяснить:

Да не, я так, просто по лесу гуляю… Заблудился слегка.

Так я тебе мигом дорогу покажу. Уж кто-кто…

Да нет, спасибо, я сам. Рано или поздно я выйду… Всю жизнь не пробродишь. А вы сами кто? - не без робости спросил он того.

Я? А догадайся?

И посерьезнел, и сказал, глядя прямо ему в глаза:

Я – партизан.

Против кого? - осторожно спросил он.

Против гансов, против кого. Мы здесь в глубоком тылу. В немецком тылу.

Он не знал, что спросить. Любой вопрос был бы или неделикатным, или вопиюще неделикатным.

Партизан присел на пень, поставив к ногам винтовку. И, чтобы ответить ему, прервал закуривающий жест – незажженная сигарета в руке и тоже еще не горящая спичка. (Сигарета – доисторическая, виденная только в кино). Заговорил:

Я знаю, что немцы уже победили. Я уже себя не обманываю. Этим – плевать. Девки с гансами давно уже… трали-вали…

Каким – «этим»? чуть посмелев, спросил он.

Каким «этим»?! Так называемому «мирному населению» - партизан еле выговорил эти слова из-за гадливости, которые они ему внушали.

Но вот что я хотел бы знать, продолжил спокойно партизан, и опять его взор устремился на него:

Есть ли в мире еще хоть один подобный мне? Есть ли в мире хоть еще один партизан?

От этого взгляда ему стало не по себе. Он молчал. Он не знал, что сказать.

Вдруг он увидел на еще одном пне красную ученическую тетрадь. Она была удивительно, ярко-преярко красная. Скосив на нее глаза, он прочитал (написано было старательно, крупно, красиво):

ДНЕВНИК МОЛЧАНОВА ДМИТРИЯ, УЧЕНИКА 10б-го КЛАССА 415-ой СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.

Почему-то ему стало ужасно, до чесотки любопытно.

Можно, я почитаю? просительно спросил он.

Читай… неохотно ответил партизан.

Но по этой неохотности, по этой демонстративной отстраненности он понял, до чего партизану хочется, чтобы его прочитали. Здесь, в лесу, читателями он явно не избалован.

Он начал читать. Написано было как продолжение чего-то давно начатого. Вроде дневника.

«*Вычитал тут про некого партизана Боснюка. Там написано про «пулю из его черепа и гвоздь, которым он ранил фашиста». Широко жил товарищ Боснюк, замечает автор.*

Действительно забавно. Я посмеялся слегка. Но сейчас я хочу остановиться на другой стороне дела. Теперь так.

Минута молчания.

Все еще молчим.

Значит - гвоздь. И это — все. Я бы хотел иметь пулемет, но у меня, видите ли, всего лишь гвоздь. И этот Боснюк встретился с ним, с фрицем, лицом к лицу, появившимся из-за какой-то проталины, прогалины, куста, дерева, рва, оврага; и Боснюк воткнул в него гвоздь, настолько глубоко, насколько мог; предъявил миру последнее доказательство того, что он, Боснюк, все-таки пока еще существует. И сразу же получил пулю в череп; а как, собственно, иначе? Трудно

убить гвоздем… Я вижу этого немца, с матюгами вытаскивающего из себя окровавленный гвоздь.

Так и надо жить, как Боснюк.

Получай, гад! Хотя бы гвоздь.

Но что могу знать о партизанах я, хилый еврейчик, начитавшийся Ницше?

…который день ты уже идешь, бредешь, ползешь посреди этого бесконечного леса, и отупевшие мозги где-то на заднем фоне сознают, что ползти бессмысленно, наверно, лучше лечь и ни о чем не думать, но нет, я должен ползти, и я буду ползти, а лес этот вовсе не бесконечный, он сразу же кончится, когда зараздаются перекликающиеся лающие, гортанные голоса, а их тут много, этих голосов, скоро лесу конец, но уже почти совсем не страшно, бояться уже нет сил, и только брусника, бледная брусника на пружинящем мху одна еще в силах напомнить тебе, что уже кончается виться твоя веревочка, что уже никогда, больше никогда!… эх… темнеет, уже облака начинают исчезать в темнеющем небе; задул, сорвался ветер, и невидимые облака медленно понеслись над тобой, а это что? это сыроежка, мы их вообще-то не берем, у нас белых полно, какая она на вкус? я уже и забыл, сорвать эту сыроежку, переломить ее ножку, прижать к груди, к лицу… укусить ее за шляпку, почувствовать лесную, грибную горечь, растереть между пальцами ее пластины, а это вот трухлявый пень, уже нет сил вдарить по нему ногой, чтобы разлетелись древесные гнилые брызги, лесная паутина легла, щекоча, на лицо, сполз в канаву, со стоячей затхлой коричневой водой на дне, ничего, мама постирает, в конце концов я же набрал столько грибов, канава хлюпает подо мной своей гнилью, тоненький игольчатый ствол поваленной молоденькой елочки лежит мостиком через канаву, как холодна трава под моим лицом! но, Господи, я уже больше не могу, когда же, когда? не тяни, я тебя умоляю, не тяни…

а мужики все уже отмучались, зачем-то остался только я один, пусть они поспят, пусть поспят, пусть поспят…

и я наконец в забытьи, помню, когда я был маленький, у меня была температура за сорок, и на стене мне мерещились козлиные морды, пусть уж лучше козлиные морды, а от тех, настоящих козлиных морд, я ушел, им меня уже не достать, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел!

Как страшен этот сон! Кромешный сон. Как страшен далекий черный лес! Мои няньки пугали меня им. И даже гувернантка-француженка насмешничала над моими страхами. Правда, maman говорила, что все это вздор. И отец смеялся и брал меня на руки. Я на время успокаивался.

Но страх жил во мне. Мы же были окружены лесом. А на ночь нужно было идти через двор в деревянную будку. Там всего шагов пятнадцать, но посреди двора я застывал и смотрел на черный сплошной лес. Мне казалось, что там живут какие-то неведомые, страшные люди. И иногда мне казалось, что я вижу слабые, слабо покачивающиеся огоньки в лесу. Я вглядывался в них, и когда удостоверивался, что мне не кажется, огоньки тотчас пропадали.

Думал ли я, что эти люди из леса действительно существуют? Думал ли я, дворянский дитятя, барчук, что когда-нибудь стану одним из них?

Дорога, низкое серое небо, нервический ветерок.

Это Волоколамское шоссе.

Нет людей. Нет ничего.

Пустота.

Пока еще. Но скоро мы увидим людей, а может быть, сначала услышим их, но сейчас пока еще ничего и никого нет, мы пока еще за час до этого, за час, за минуту, за секунду, за…

Пошел редкий, мелкий снег. Осенний снег. Как медленно он падает…

Октябрьским деньком, невысоким и мглистым,
С Москвой, окруженной немецкой подковой,
Товарищ Шелепин, ты был коммунистом,
Со всей справедливостью нашей суровой!

Шелепин тот самый, будущий «Железный Шурик».

Он перевернул страницу. Там ничего не было, лист был пуст, только одно, крупно:

«Пленных гонют — чего ж мы дрожим?»

И это было все. Он полистал дальше, ничего не было, одни только белые листы. Он положил тетрадь, почтительно закрыв ее, на то место, откуда взял. Говорить ему ничего не хотелось.

Оба молчали.

Наконец, он осмелился робко спросить:

Ну а я… пойду пока?

Гуляй, парень, гуляй, ответил как будто уже позабывший его партизан. Топай.

Партизан сидел на пне и курил в землю.

А почему гансы? вяло подумывал он, уходя. Здесь же была, вроде, финская война? Черт их разберет… Какой-то еврейчик… Не то барчук…

Его уже давно носило по лесу. Партизан был первый, встреченный им. Он то шел, то пробирался, то продирался. Обходил болотца. Долго уже.

Он на школьном дворе тридцать первого августа. Некоторое предучебное оживление здесь было, но людей было мало. Учеников, в смысле, почти не было. Ветер надувал, раздувал листву зеленым деревьям, которыми был обсажен двор. Какая старая у них кора. На

дворе то там, то сям сверкали свежие лужи. Которые поближе, не сверкали, но поражали синевой неба и белизной облаков. Он подумал, что облака действительно сделаны из пара. На другом конце двора побежала за какой-то теткой мелкая с двумя косичками, к чему-то ее назойливо призывая, голосом ябеды. Тетка чинно уходила, потом повернулась и стала что-то терпеливо, но строго втолковывать той. Он отвернулся от них. Старушенция в синем служебном халате мыла школьное окно с той стороны. Он представил, как скрипит сейчас тряпка по стеклу…

Какая грусть! Какая грусть, бог ты мой!

И что, так вот и будет? Так вот и будет, сейчас, и всегда??

Школу надо сжечь, это совершенно очевидно. Скрипи тряпкой, твою мать, где-нибудь в другом месте. Но у меня кишка тонка. Вместо этого я пойду завтра туда сидеть шесть уроков.

Но они еще заплатят мне за эту грусть.

Кто - «они»?

Все. Весь мир.

И он шел и шел по лесу, то густеющему, сопротивляющемуся, то сухому, пустому. Мертвые столбы с сухими торчащими сучьями, сухой пористый мох. А то гниловатая земля, гниющие поваленные худосочные деревца, болотистые овраги то и дело. Он сел покурить на одном из таких деревьев, сухом, высохшем сверху, мокром, трухлявом снизу. Сухая ветка хрустнула под ногой. Дым развеивался и уносился к хвое, к листьям, к небу. Он сидел, задумавшись, на деревце, пока оно не треснуло и не просело под ним. Он резко встал, испугавшись. Очнулся. Понял, что пора идти дальше.

Он набрел на поляну. Только эта поляна была асфальтированная. Она была большая, ровная, и на ней стояло тускло-желтое, казенное здание. Это горбольница, догадался он. Здание стояло к нему свой задней, технически-хозяйственной стороной. Какая-то прибольничная помойка у одной из дверей. Он открыл дверь и вошел. Поднимался по лестнице. Слабо, но доставуче припахивало тушеной капустой. Подошел к двери в отделение, постучал. Открыли не сразу, потом

послышались неторопливо шаркающие хозяйские шаги, и дверь открыла медсестра. Она была довольно уже старая. На фоне светлого лица, светлых седеющих волос, светлых глаз довольно нелепо чернели толстые очки. А он вдруг понял, что сейчас он невидим. Он ловко проскользнул мимо нее и вошел. И оглянуться не подумал.

Хлорно-сортирный запах. Даже сквозь стену слышно, как журчит и журчит струйкой вода в плохо работающем, но пока еще окончательно не отдавшем концы унитазе. Он постоял и послушал воду. Он вспомнил, кто любил ее слушать. Пошел дальше по линолеумному полу. Пол не так давно вымыли, кое-где он подсох, кое-где был еще мокр, и был некстати похож на детскую непросохшую акварель. Чуточку даже переливался. Белая дверь сбоку. На ней было написано «СМЫВОЧНАЯ». Он шел дальше. Еще двое белых халатов, что-то наскоро обсуждая, прошли мимо, и ему пришлось прижаться к стене, чтобы дать им дорогу. Еще одна белая дверь. На ней было написано «СЛИВОЧНАЯ». Капустой завоняло сильнее. Он пошел на капусту. Очутился, как и ожидал, на кухне. Капустная вонь была тут невыносимой. Толстые, бокастые тетки проворно поворачивались в глубине, иногда что-то с оглушительным дребезгом роняя. Было гулко, как в бане. Все звенело. Тетки визгливо перекрикивались. Даже не как в бане, а как в цеху.

Когда ему показалось, что он достаточно надышался капустной вонью, достаточно наслушался звона и дребезга, насмотрелся на широких, распаренных теток, он тихо покинул кухню. Оказался в столовой. Там стоял дюралевый лязг, и глухо волновались голоса. Не желая того, он случайно взглянул в одну тарелку и увидел там две коричневые, мертвые сосиски и размокшую перловую кашу.

И ему захотелось побыть в больнице. Он материализовался, стал видимым; в одежде, из-за своей непригодности ставшей домашней. Вразвалку подошел к окошечку, откуда раздавалась больничная баланда.

Мне-то плесните, хмуро сказал он туда.

Робот, сидевший там, спросил:

Фамилия.

Ну, Пахомов.

Бюджетный или хозрасчетный?

Бюджетный…

Взял баланду, кусок хлеба.

А че вы мне горбушку-то дали? сказал он роботу.

Робот не откликался.

Не махнешься со мной? спросил он высокого парня со светлыми бачками, стоявшего за ним.

Лех-ко! сказал парень. Я как раз горбушку люблю.

Сел за дальний соседний стол. Зачерпнул ложкой, всосал в себя, хлюпнув. Бросил ложку.

Жрать невозможно, объявил он в пространство. Вот ты бы такое стал бы дома жрать?

Уронил подбородок на грудь, уставился в пол, бурчал что-то…

А я бы посмотрел…

Он все-таки хлебал баланду. Есть баланду было скушно. Чем дальше, тем скушнее становилось на душе по мере того, как он ел. Он перестал есть, надоело.

Выворачивающе зевнул, не прикрываясь. Че бы такое поделать-то?

Подошел к веселой очереди на уколы. «Внутрипопочно», услышал он оттуда. Жаль, ему как раз отменили уколы. Нечем заняться.

Как дела, мужики? спросил он.

Что-то ему ответили.

Кто-то вышел, уколотый, он просунул голову туда.

Люсь, сделай мне витаминку, с фамильярной подобострастностью окликнул он медсестру.

Пахомов, ты мне снился, отозвалась та, не удостоив оглянуться.

Вздохнув, он убрал голову.

Рачком бы ее загнуть… с тоской подумал он про нее. На Клавку глаза бы не глядели… В субботу придет, хоть пожрать принесет нормально…

Пойти, что ли, покурить? В курилке никого не было, сидел только тот тип из десятой палаты. Мужичонка лет за пятьдесят, прокуренный, щуплый, с облезлыми усами, согнутый под бременем проклятущей жизни. Даже сидел, вжав голову в плечи.

Хорошо бы посмотреть графики, сипло сказал ему мужичонка, вжимая голову и как будто украдкой поднося к усам сигарету. Он был очень поглощен своей мыслью.

Какие графики? недовольно уточнил он.

Графики. Как они идут. Содержание соли в крови, сипел мужичонка. (Или он просипел «в моче», этот черт, хрен знает).

Ладно, куриная нога, отдыхай, сказал он с ленивым вздохом, оглядел пустую курилку и вышел в рассеянности. Совершенно нечего делать…

Вышел из курилки, но призадумался… Хм, такой сморчок, а сигареты курит по 50 копеек… А я всякое говно курю, «Приму» эту сраную…

Он вошел назад, и, с искательной наглостью глядя на мужичонку, подошел к нему.

Слышь, браток, сигареткой не выручишь?

Мужичонка начал что-то сипеть, объясняя про то, как далеко еще до субботы, тихо, но изо всех сил сипел он, свистел, но он приобнял его со всепобеждающим дружелюбием; похлопал, чтобы только душу не вытрясти:

Да сочтемся, браток, куда денемся…

Вновь добытую сигарету он курить пока не стал, а сунул в нагрудный карман и, смолкнув, вышел.

Так, надо идти дальше. Он опять стал невидимым и пошел.

Еще одна белая дверь. На ней было написано: «ЗАБОР КРОВИ ИЗ ВЕНЫ».

Луна. Волки воют на синем снегу.

Моего фонарика не хватит, чтобы осветить весь этот снег. Даже луны не хватает.

Не ходи за околицу, там волки. Они ждут тебя. И луна тебе не союзница.

Коридор кончался дверью.

«СТАРУШЕЧЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ», прочитал он.

Там действительно лежали старухи. В коридорах, вдоль обеих стен. Было темно. У одной кровати он увидел красивую, статную врачиху с целой витой башней волос, чуть принаклонившуюся к старухе, которая что-то блажила ей на самых высоких, последних нотах. Врачиха слушала, но иногда бросала улыбающиеся взгляды по сторонам, как будто извиняясь за поддатого докучливого гостя, бог весть, как сюда забредшего. Он шел дальше по коридору вдоль старух на кроватях, стараясь поменьше смотреть. Один раз все-таки увидел: старушечья спина с задницей, там язва, густо вымоченная в зеленке. Медсестра что-то бормотала про себя, старуха скулила. «Пролежни», - откуда-то появилось слово. Идти пришлось дольше, чем можно было ожидать, но коридор все-таки кончился, опять белой дверью. Он поскорее открыл ее, вышел и закрыл с той стороны. Поскорее бы выйти из больницы.

Но, оказывается, из больницы он уже вышел. Он очутился в чьей-то комнате. Какой век-то? Девятнадцатый. Годы тридцатые.

На столе горели две свечи. Лежала раскрытая книга. Он начал читать.

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht,
er fiel auf die zarten Blaublümelein,
sie sind verwelket, verdorret.

Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb,
sie flohen heimlich von Hause vort,
es wusst‘ weder Vater noch Mutter.

Sie sind gewandert hin und her,
sie haben gehabt weder Glück noch Stern,

sie sind verdorben, gestorben.

Было темно. Только две свечи. Никого не было.

Он огляделся по сторонам. И правая, и левая стена была уставлена книгами. И диван был усеян книгами, и пол. И табачным пеплом был усыпан пол, вперемежку с книгами. Все вынутые из шкафа книги лежали открытыми, корешками вверх, лицами, текстами в пол. Все ночь обезумевший хозяин искал в этих книгах что-то такое, что было нужно ему больше жизни, книги валились с грохотом ведер и тазов, но в них не было того, что нужно, и он плюнул на все это, и ушел, и только две свечи вечно горят и горят для него.

Gute Nacht!

Пусть собака воет на дом своего хозяина!

Надо сжечь все книги за те обещания, которые они дают и не выполняют.

Он склонил голову и постоял минуту молча. Потом стронулся с места и с дьявольской неохотой пошел назад, чтобы опять идти и идти мимо старух. Он открыл дверь, вышел, но это была не больница. Он дико обрадовался, но тут же узнал, куда он попал — к себе домой, в свою комнату! Нет, только не это! со стоном он вошел прямо в стену и действительно прошел сквозь нее и приземлился в лесу, в полузаросший ров - получился маленький прыжок, он даже шмякнулся на зад. Хорошо, было не очень сыро.

клавесиновый дождь

безутешные небесные клавесинисты

меня беспокоит клавесиновый дождь

зеркала

Он быстро выбрался изо рва и попер прямиком в лес. Лес был мокрый, но главное — не хотел пускать его. Чуть вступив в лес, он сразу же почувствовал гроздь холодных капель за шиворотом. Немного только дальше — и ободрал ногу об острое основание сломанного тонкого деревца. Забираясь в лесную глубь, даже почувствовал, что ноге чуточку мокро, — кровь выступила на ободранном месте.

Северные лианы. Они не пускали его. Густейшие кусты вырастали прямо из-под ног, и деревья как будто нарочно сомкнулись; ветки, прутья лезли в лицо, царапая и стегая. И осыпая дождем. Через некоторое время он почувствовал, что устал. Остановился в этой про́клятой чаще перевести дух.

Так он шел и дальше. Лицо прикрывал обеими ладонями. Иногда шел спиной. Отдыхал и курил.

Он ничего не слышал. Все ушло в зрение.

Однако с удивлением и с некоторым испугом он обнаружил, что кто-то сейчас, рядом с ним, тоже продирается сквозь лес. Он замер и, на сей раз, весь обратился в слух. (Почему-то его сильно удивило, что в лесу, кроме него, может быть кто-то еще; как будто бы он неосознанно считал лес своим). Продирающийся же, в этом не было никакого сомненья, продирался по направлению к нему.

Вот вы где? А я как раз хотел вам сказать, обратился к нему продравшийся. И продолжил, он не стал перебивать этого неизвестно кого.

Взгляните на них, на людей, среди которых мы живем. Сравните их огромный мирок и наш крошечный мир. Они не пересекаются. Мы читаем свое — они свое. Мы слушаем — свое, они — свое. Мы смотрим… И так далее. Двойная литература, двойная музыка, двойная живопись, двойной кинематограф, двойное все. Так повелось уже давно. Мы живем на одной территории — и это единственное, что нас связывает.

Мы хорошо поняли: что бы *эти* ни устроили — нам среди *них* места не будет. При слове *эти* мужчина обвел вокруг головой, хотя никого, кроме них, рядом не было.

Ну и мы стали бороться за свои интересы, здесь и сейчас, не вынашивая утопических планов. А от *этих* мы отделились — в рамках существующих государств и законодательств. И теперь мы опора существующего строя — хотя бы потому, что и при нем нам не так уж плохо живется, а никаких журавлей в небе нам не нужно — их все равно нет. А раньше, как вы сами видели, слишком многие из нас были могильщиками этого самого строя. (Политиканы очень хорошо

оценили эту перемену — и мы с ними дружим. Нам нужны они, а мы — им. И вместе мы держим неформальную, негласную круговую оборону против *этих*, - и способны ее держать хоть тыщу лет. Конечно, между нами и политиками случаются и конфликты, причем серьезные конфликты (мужчина тонко улыбнулся) - но ни одна сторона не стремиться уничтожить другую, понимая, что в этом случае, рано или поздно, погибнем мы все — *эти* всё растопчут. Поэтому мы и предлагаем вам стать членом нашей организации — такие, как вы, на нужны. Это все, что я хотел вам сказать. Ну ладно, счастливо вам, а мне дальше надо.

Какой еще организации? лениво подумал он.

…ветер метет по кочкам. Трава ходит волнами. Ветер рвет, рвет простыню с бельевой веревки, она держится из последних сил на своих жалких прищепочках…

Слушай, я больше не могу. Это хлынуло, как прорвавшийся флюс. Я долго подавлял эту любовь в себе, но я устал подавлять. Сколько можно подавлять? Но я люблю тебя, люблю, люблю!

Иисус, извини… Ты не прости, ты извини. Мне очень стыдно, но я люблю тебя. Так же, как тебя любят все. Мне очень стыдно признаться. Когда я думаю о тебе, жар приливает к голове, меня всего, все мое тело кидает в жар. Я весь горю. Как наскипидаренный. Я был в первом классе и провалился в прорубь, бабушка натерла меня всего и закутала, я весь горел. Вот так я и горю. Нет, сильнее, и еще задыхаюсь. Хочешь, я расскажу; нет, ты не хочешь, но я все-таки расскажу. Тогда у меня выпал первый молочный зуб, я как сейчас помню, бабушка долго хранила его, потом он куда-то подевался… Да и самой бабушки нет. Ладно, извини еще раз…

Иисус!

Да так, ничего… Я просто хочу сказать, что я люблю тебя для себя. Не для тебя, а для себя. Ради тебя я и ржавого гвоздя не вбил бы. Ой!.. Иисусе, прости мою бестактность. Я помню, как-то

раз я разговаривал с горбатым, и в голову лезло то «лепит горбатого до стены», то «горбатого могила исправит», а потом еще, совсем уж непонятно, Конек-горбунок. Так вот, для себя. Я хочу высосать тебя, напитаться тобой. Ради чего сейчас верят в бога? Для себя. Чтобы *им* было лучше, а не кому-нибудь другому. Не чтобы, например, мир стал лучше, или я стал лучше для других. Нет, чтобы *мне* было лучше, а все остальные, все остальное черт с ними. Но я в богов не верю. В частности, в тебя. Я не верю в тебя, но я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю и никаких гвоздей! Черт…

Черная вода. Кувшинки на воде.

Последний романс по утопленнику свершен.

У разрушенного замка, в полночь.

Поклянись.

Он будет являться тебе.

Мой вяленый Иисус!

Я помню тебя видел. Ты висел на кресте и был серым. Ты весь провис. Ты как будто был сделан из пластилина и уже начал плавиться на этой жаре. Ты весь был подплавленно-изогнут, мягок, суставов нет и костей нет. Как отвратительно мягок и податлив ты был. Серый пластилин. И я понял, что такого я люблю тебя. Тебя, а может быть твое тело. Ты такой голый на кресте. Кое-что, впрочем, скрыто. Жаль. Я бы убрал эту дурацкую тряпку, чтоб не мешала. Я хотел тогда прижаться к тебе и лизать пот на тебе. Я бы хотел гладить соски о твою грудь. Ладони об твои бедра. Живот об живот. И тем, что пониже… Да-а-а… Мы были бы вместе. Я бы к тебе прижался и нам было бы очень тепло. Тепло на этой безумной жаре и даже жарко вдвоем. Но я бы не отпустил тебя. Я бы тоже вис на тебе, как пластилин без костей. Твое тело было странно горячим на жаре. В обнимку с тобой я бы и отошел… Мне бы никто не помешал тебя любить. До конца. Нет, нет у меня голоса, чтобы сказать об этой гнилой, сладкой, плотской любви к тебе. Я пробовал ныть, орать, шептать, бормотать, выть. И все не то. Я помню сладкий, гнилой, соблазнительный трупный запах. Эту обморочную и экстатическую

тошноту, эту *прелесть*. Извини, если что не так, извини. Дай я тебя полижу. И поглажу, помну, изогну, выгну дугой эту руку без локтя, выгну и вытяну, растяну, вомнусь в тебя, размажу тебя по себе, как мазь…

Твои глаза глядят куда-то далеко и что-то видят вдалеке. Не знаю что, но что-то такое… Нечто… э-э-э… неоднозначное. Там тоже какая-то своя тоска, какая-то своя борьба. Меня мучает любопытство: что такое ты там видишь? Я вижу, что ничего особенно хорошего, но все-таки что? Бесполезно спрашивать. Это все равно что спрашивать, о чем думает, качаясь, тонкая рябина, о чем плачет плакучая ива, или, о чем дремлет, овитая туманом, погрузившаяся в многовековую дрему далекая гора. И, странно, каким цепким оказался твой образ! Я ведь про тебя почти ничего не читал. Я, правда, видел много картин, как, собственно, и все, их нельзя не видеть у нас. Но видел в таком количестве, что изображенное на них должно было бы казаться чистой условностью. Оно долго и казалось. Но потом вдруг перестало. Почему? Откуда это во мне? Странно. Так ты и застрял во мне маленьким, самодельным, кривым гвоздиком. Я его не чувствую. Но иногда он ноет, ноет в какую-то душевную непогоду. И никак не истребить в себе это; это нытье, эту горькую ноющую истому. Иногда я вдруг взрываюсь: ну что, что, что мне непонятно в тебе?! Но толку нет. Непонятно и непонятно. Разве что прижаться к фрагменту твоей одежды с великолепно прописанными складками, уткнуть туда лицо, и в наступившей душной темноте хоть на один миг поверить, что я тебя понял.

А зачем тебя понимать? Не знаю. Вроде как незачем. Но иногда я хочу этого. Позор. Позор мне, но я этого хочу.

Изыди, сопливый! Нет у меня чернильницы, чтобы бросить в тебя.

Опять лес. И опять, и опять лес. Все такой же мокрый, все такой же темный.

Он пер и пер, не оглядываясь, не останавливаясь. Долго ли он шел или коротко — он не знал.

Наконец, он вышел на лесную дорогу. Не тропинка, вполне дорога. Ровная достаточно. Темнота посветлела, теперь это был сумрак, сумерки. И недавно прошел дождь.

Но все затихло. Мокрые, темные, зеленые листья лишь чуть-чуть шевелились. Так он и шел, вздохнувший и успокоившийся.

Внезапно он увидел… нет, не внезапно, он был готов увидеть. На краю дороги, даже сойдя с нее, полуисчезнув в сумраке леса, стоял Алешка, первый муж бабушки. Лица его и вовсе не было видно за листвой, но он и так знал.

Он приблизился к нему, но дальше подойти не решился и остановился на некотором расстоянии. И начал говорить Алешке то, что давно хотел ему сказать.

Я вообще не знаю, как я про тебя узнал. Я не помню, чтобы про тебя в доме говорили. Говорили, стало быть… Даже меня вроде бы хотели назвать в честь тебя… Впрочем, не знаю, приснилось, может. Ты незримо витал, как говорится. Я чувствовал запрет, вето, наложенное на тебя. Но этот запрет лишь обострял мой интерес.

Меня знают все. Про меня много говорят. Но я бы хотел, как ты, незримо витать. Чтобы мое имя никто не произносил, не упоминал. Чтобы все только *знали*. Разве лишь иногда…

Он всматривался в обочину, в лес, хотел понять, слушает ли его Алешка. Почему-то понял, что слушает. Но тут же понял, что говорить ему осталось не более нескольких минут, Алешка исчезнет, на этот раз навсегда.

Ладно, это так, не столь важно, продолжил он. Вот что: я бы хотел исчезнуть в начале войны, как и ты. Чтоб и могилы не было. В одном из этих дьявольских котлов… Исчезнуть, погибнуть. Именно на войне. Не знаю, почему.

Я знаю, сказал Алешка. Ты не обижайся; парень ты, вроде, неплохой, но нам с тобой не по пути. Я воевал за свою страну, а ты всего лишь хочешь быть причастен к великому событию, неважно к

какому. Ты ведь так обожаешь величие, но в себе ты его не находишь, вот ты и хочешь быть хотя бы причастен, пусть и ценой собственной жизни.

Алешка смолк. И его больше не было. Была слегка рябящая в глазах листва, сумрак, сырость. Земляная дорога.

Он стоял и не двигался. Он прекрасно расслышал все то, что сказал ему Алешка. Разговор состоялся, последний разговор.

Он мог бы сказать, что величия в себе и не бывает, оно всегда вовне.

Но зачем?

И он двинулся дальше.

Не худо бы, тем не менее, отлить. На дороге никого не было, но он все-таки решил сойти с нее в лес. Сошел, уже было приладился, но вдруг почувствовал, что он не один. Заворочал головой и нашел:

ГВАРДИИ МАЙОР ТКАЧЕНКО В.В.
1909-1942

Могила. Серебряная пирамидка, грубо сваренная. Со сварочными узлами на сочленениях. И цветы у подножья. Какие они яркие, влажные, кажется, их только что принесли!

Красная пятиконечная звезда.

Он весь испугался, перепугался, сердце заколотилось. Поспешил выбраться обратно на дорогу.

Дорога все та же. Молчанье, лес. Он шел.

Успокоился. Отлить негде, что за черт. Может на другой стороне?

На другой стороне все было нормально. Выбрался назад.

Но старой дороги не было. Вышел он на светлую лужайку. Темнота исчезла совсем. И лес перестал быть сырым и мокрым. Он мгновенно обрадовался, он облегченно вздохнул, увидев эту лужайку, такую небольшую, даже интимную. Небо было пасмурное, но очень

светлое. Где он видел эту лужайку, когда она снилась ему? Не найти лучшего места для детских дачных свиданий. Чтобы вспоминать эту лужайку всю жизнь, чтобы она снилась, чтобы потом, встретившись через двадцать лет, сказать: «А помнишь?..»

А у самого леса, постелив на траве синтетический пакет, сидела женщина. Он не сразу заметил ее. На коленях у нее была раскрытая книга; женщина сидела, внимательно ее читая. Его она, похоже, пока не видела. Он присмотрелся к ней. Лица он ее не видел — оно было обращено к книге, но что-то показалось ему знакомым… Сама повадка, манера… Хоть и в неподвижной фигуре. Это же его одноклассница Наумова.

Они с Наумовой симпатизировали друг другу. Не больше. Но это-то и было хорошо, в этом были свои преимущества. Не приходилось краснеть удушливой волной. Она хорошо училась, была старательной, но, как ему казалось, была отнюдь не глупа и даже как-то независима. Так и осталась в памяти эта ее склоненная голова. На последнем звонке он подошел к ней и сказал: «Ну че?» Та кивнула, и они вместе прошествовали по двору.

Была девушка, стала тетка. Но это ничего. Он неслышно подошел и присел на корточки перед ней.

Привет, сказал он.

Она оторвалась от книги, глянула в некотором замешательстве, но тотчас его узнала.

О, привет, улыбнулась она, и ему показалось, что она сдерживает свою улыбку.

Он, оглядев траву, убедившись, что она совершенно сухая, сел прямо на нее.

Она сняла очки, положила их в книгу вместо закладки, закрыла книгу.

В таком костюме и прямо на траву? с некоторым боязливым, добропорядочным удивлением полюбопытствовала она.

Ничего. Костюм — это детали.

И добавил:

Выглядишь отлично.

Она и вправду хорошо выглядела. Даже более того: годы, скорее, пошли ей на пользу — ушло это выражение старательной ученицы. Или не то чтобы до конца ушло, а трансформировалось в некую мягкую умудренность.

Впервые он глядел на нее, как говорится, «как на женщину». Она и была женщиной — кем же еще?

Он смотрел на нее и не мог не улыбаться — до того хорошо было на нее смотреть.

Ты чего? спросила она, даже не без некоторой жалобности, неправильно истолковав его улыбку как насмешливо-изучающую.

Да все нормально. Так.

Он еще поулыбался, потом вздохнул.

Она приопустила глаза.

А как живешь вообще? спросил он.

Нормально все у меня. А ты как?

И у меня нормально.

Помолчали. Не хотелось уходить. Но почему-то он чувствовал, что надо идти.

Она вдруг сказала:

А хочешь на нашу школу посмотреть?

Он заинтересовался:

Да, хочу. А где она?

В-о-о-т там. Совсем рядом. Она показала рукой.

Он посмотрел, куда она показывала. Точно, какое-то здание виднеется сквозь деревья. И впрямь на их школу похоже.

Крякнув, он встал с корточек.

Что ж, пойду, сказал он. Удачи тебе.

Она кивнула ему головой.

И он пошел дальше.

На душе было хорошо. Кусты раздвигались легко. От веток приходилась пригибаться не часто и не низко.

Вот она, школа. Средняя школа №415.

Весь в таком вот настроении он подходил к ней.

Однако что-то в нем менялось. И менялось тем стремительнее, чем ближе становилась школа. Легкость с души куда-то сдуло. Становилось страшно. Да, страшно. С каждым новым шагом страх вырастал, вымахивал в нем на целую голову.

Сейчас войду… Изогнутые желтые скамейки. На них переодеваться в сменную обувь. Налево - портрет. Направо - плакат. Гардероб. Буфет. Классная. И дерибальник, и завучиха. Географиня, химоза, историчка.

Пересиливая себя, он все-таки дошел до школьной двери, взялся за ручку. Холодная ручка как будто толкнула его в ответ. Он отнял, почти отдернул руку. Как электростатикой долбануло.

Нет, он не сможет войти сюда.

Я вновь оказался в прошлой жизни. Я вновь в своем городке, откуда когда-то — так давно — приехал.

Они убьют меня! Учуют издалека и затравят собаками. Нужно найти воду, которая перережет мой след для их собак. Так я и буду, старый негр, скитаться по луизианским болотам. Но уже аллигатор приоткрыл свой чуткий глаз. И вот он поплыл, пополз по моим следам. Аллигаторы тоже любят черное мясо.

Я предал их всех. Точнее, я изменил их миру. Этому маленькому городку, откуда я родом. И меня поймают прямо на базарной площади, схватят, скрутят, поведут. По всему городку повешены объявления «разыскивается преступник» с моим лицом. Десятилетия прошли, но объявления все висят, и фотографии обновляются. Ребенок схватит за руку свою мамашу: мама, смотри! Та посмотрит, узнает, обалдеет… И кинется всех дергать и орать: Это он! Смотрите, это он! И поведут меня, касатика. И будут приговаривать, словно успокаивая: там разберутся, там разберутся. А моей казнью будит заведовать некто небольшого роста, коренастый, скуластый. Он будет четко руководить возбужденной, бестолковой толпой. Он успокоит толпу и возьмет слово.

А ведь мы помним… скажет он, и по толпе побежит:

Помним, помним, помним…

А ведь мы думали…

Думали, думали, думали…

А ведь мы ему верили…

Верили, верили, верили…

А он оказался…

Оказался, оказался, оказался…

Кусты как будто сбежались из леса к школе, чтобы посмотреть, что там, да так и застыли. Он боялся кустов. Сейчас он услышит, как где-то их с шумом раздвигают, ломая, и увидят, и набросятся… Вот, вот сейчас будет классический шум раздвигаемых кустов.

Стало темнее. Сильно темнее.

Никто не выбегал. А может, никто его не видел?!

Он повернулся и быстро пошел прочь, чтобы опять спрятаться в кустах, в лесу. Отойдя буквально на десяток метров, стоя в зарослях, он почувствовал, что успокаивается.

Самое время перекурить. Он курил, до конца не отдышавшись. Школу по-прежнему было видно, но она отступила. Где-то уже не здесь она была. Не там, где он.

Он вспомнил о лужайке, о Наумовой. Очень захотелось опять оказаться там. И он пошел.

Лужайка была все та же, чистенькая, светленькая под опять посветлевшим, чистым пасмурным небом. Он вздохнул, снова увидев ее. Но Наумовой не было. Не было даже пакета. Он почувствовал нудную тоску где-то в глубине, понимая, что больше ее не увидит. Но он немножко походил по лужайке, позвал. Пару раз сунулся в кусты, огляделся. Никого.

Наташа! звал он. И звал-то вполголоса, почему-то неловко было — непонятно перед кем — звать громко.

Наташа!

Нет, бесполезное дело.

У Мэри был барашек.

Он сел на траву и опять закурил.

Куря, постепенно отделываясь и от мыслей о Наумовой, и от недавно увиденной школы, он случайно глянул туда, куда Наумова указала ему рукой. Там было здание. Но это была точно не школа.

Затушив сигарету об каблук, он еще раз пошел туда взглянуть. Опять, тем же путем.

Перед ним стоял его университет. Его альма-матер. Один среди леса. Только немного асфальтированного пространства отведено под него, а дальше, во все стороны — сплошной глухой лес.

Опять стало темно. Опять давно уже стемнело.

Он подошел к университету и прильнул лицом к его окну, источающему фурацелиновый раствор. Какие-то каменные пустоты внутри. Вон, вроде, лестница… Вон, вроде, зеленеют какие-то растения, которые встречаются только в кадках и от того кажутся искусственными. Но где же все остальное?

Он дернул дверь, дверь была заперта, хотя и ерзала. Конечно, уже поздно. Но, может, пустят, просто так, походить хотя бы. Он пошумел дверью. Сейчас выйдет заспанный, старый, приглуповатый, приглуховатый вахтер, спросит: А? Чего? Но никто не выходил.

Он дергал и дергал дверь. Безрезультатно.

Сим-Сим, откройся, неожиданно для себя ляпнул он.

Дверь открылась. Он вступил в холл. Стало еще темнее. Он смотрел на полумрак холла, на его полутороэтажную пустоту. Это не школа. Здесь все было по-другому. Именно здесь он понял, что ПРИЗВАН. Именно здесь его осенило, что ему ДАНО совершить… нет, СВЕРШИТЬ то, что не дано никому другому.

> Гром из-за тучи, зверея, вылез,
> громадные ноздри задорно высморкал

Так он тогда думал о себе. Вот только его тело, больное, дохлое. Как будто нарочно ему такое досталось, как не достались бодливой корове рога. Тошнота, головные боли, полуобмороки какие-то. Руки трясутся по утрам. Слова не сказать без того, чтобы не по-

плыло в глазах. Как он проклинал его! Свое тело, свою нервную систему, свои вечно ноющие кишки, много еще чего. Постоянную свою изжогу, жгущую до слез.

Он стоял, вспоминая себя. Что-то показалось на миг, но тут же и скрылось. Он только скривил рот. Что ж, сейчас он пророк, весьма преуспевший. Успешно толкающий свои проповеди, как удачливый биржевой игрок толкает ценные бумаги. Бизнес. Мэн. Человек. Дела. Кем он стал.

Он пошел налево, на второй этаж, где располагались аудитории.

На втором этаже было совсем темно. Он стоял и ждал, пока глаза привыкнут к темноте. Дождался. Полной темноты не было, вон даже номера ближних аудиторий вполне различимы. Он двинулся дальше. Наугад открыл одну дверь. (Двери открытые, значит, - это хорошо). Аудитория была пуста. Наружные фонари рассеянно освещали ее. Парты, парты. Губка положена внизу доски, ужасно сухая, своим видом она молила напоить ее. Тем более, вам же лучше: тогда я буду лучше стирать с доски то, что уже не нужно. На доске и вправду было недостерто. Какие-то меловые письмена, уже неразличимые. Какой курс, какой семинар здесь проводился? Краткие итоги чего именно многовекового были записаны здесь? Он присмотрелся. Нет, ничего уже не разобрать. Указка лежит так спокойно. И скромно белеет небольшой меловой камушек.

Он подошел к подоконнику, облокотился на него ладонями и стал смотреть в окно. Лес. Несколько фонарей. И ничего.

…опять что-то полезло в голову из прошлого, давнего…

Ладненько. Он вышел из аудитории и пошел дальше по коридору. В пустые аудитории он больше не заглядывал. Для него, постороннего человека, все они были на одно лицо.

А вот эта аудитория, кажется, освещена изнутри, своим собственным светом.

Чуточку робея, он приоткрыл, а потом и открыл дверь.

За преподавательским столом сидел человек.

У человека было печально-вдохновенное лицо и длинные романтические волосы. Он не заметил, что кто-то вошел. Или не посчитал нужным реагировать.

Он не знал, что ему делать, — уйти или сесть за парту. Почему-то не хотелось уходить.

Здравствуйте, сказал он.

Здравствуйте, ответил машинально человек, глядя перед собой. И вдруг, как будто ненадолго очнувшись, повернулся к нему. И заговорил:

Когда мне был двадцать один год, я решил покончить жизнь самоубийством. Решил окончательно и бесповоротно. Неважно почему… Неважно, неважно! с неким раздражением, направленным на кого-то третьего, знакомого ему слишком давно. Но перед самоубийством принято писать предсмертные записки. Что ж, это правильно, я рассудил. И стал писать, почему я ухожу из жизни. Но странно, это оказалось не так просто объяснить. Я задумался… Кое-что я написал, но как ни грыз я ручку, ничего удовлетворительного у меня не получилось. Сам я не нуждался в объяснениях, чтобы сделать то, что я собирался сделать, но эту мою уверенность почему-то оказалось невероятно трудным передать другим. Это меня даже как-то раззадорило, и я продолжал думать.

Так вот, предсмертную записку я пишу уже семнадцать лет, четыре месяца и шесть дней. Моя жизнь — это одна нескончаемая предсмертная записка.

Человек замолчал. Во время своей речи он смотрел то безразлично на него, то неизвестно куда.

Он чувствовал, что надо что-то сказать. Как-то было неудобно просто повернуться и уйти. Но что именно сказать, он не знал.

И допишете вы ее? сказал он.

Кто знает, просто ответил человек, бегло взглянув на него. Вздохнул и откинулся на спинку стула. Разгладил волосы назад длинными движениями ладоней.

А-а… где она? неуверенно спросил он.

Да вот, человек небрежно махнул рукой, указывая на дальний угол. Там стояли огромные мешки и чемоданы для дальней дороги. Он их не заметил при входе.

Это все она, родимая, сказал человек, улыбнувшись углом рта. И из своего строгого, черного пиджака достал небольшой револьвер. Небольшой, с коротким и толстым дулом.

Он слегка обалдел, но человек заговорил обычным своим тоном, и он успокоился.

Вот из этого, сказал человек, я намеревался пустить себе пулю в лоб. Я даже не знаю, выстрелит ли он. Столько времени прошло.

И спрятал револьвер в пиджак.

Человек держался просто и, в сущности, благожелательно. Но он чувствовал, что уже спросил то, о чем можно было спрашивать.

Удачи вам, сказал он, берясь за дверную ручку. И тут же подумал: какой еще удачи? В чем? В самоубийстве? По-дурацки получилось…

Человек, видно, это тоже понял, и понимающе-грустно улыбнулся ему.

Я заблудился в этом океане. В этом спокойной, стоячей, безбрежной воде. Я — бутылка, брошенная за борт, и кто знает, есть ли во мне послание? Об этом узнает только тот, кто выловит меня, но когда он выловит меня, и выловит ли вообще? Мне снятся минареты Амстердама, его белый камень и пятидесятиградусный жар. Я вижу, как тяжело трудящиеся, жадные хуторяне Экваториальной Африки садятся закусывать после двенадцатичасового рабочего дня, не зажигая из экономии свет, мутный самогон стоит на столе, сало, хлеб, чеснок. А из недостижимой дали светит мне своими печальными огнями холодный, туманный Новый Орлеан.

Он вышел и собрался было пойти дальше, но увидел, что соседняя аудитория тоже освещена. А здесь что?

За столом сидел человек. На столе были беспорядочно навалены бумаги.

Увидев его, человек сразу к нему обратился, указав на свое горло:

Простыл — ужас. Еле говорю.

И закашлялся.

Потом отложил ручку в сторону и слегка приоткинулся на стуле.

Вот, сижу и мудрствую, как Спиноза. И усмехнулся, почти хихикнул, сильно переоценив качество своей вычитанной остроты. И сразу же стал серьезен. Продолжил:

Я все думаю, как мне правильно прожить свою жизнь. Ведь жизнь прожить — не поле перейти, так? Она дается один раз, и прожить ее надо правильно. Ну, хорошо прожить. Не разбазарить. Ведь так? А то потом обернешься в конце жизни — и ужаснешься, какой бездарной, какой потраченной впустую она была. Правильно? Вот я и думаю.

Он помолчал.

Только вот, знаете, до сих пор ничего толком не придумал. Жизнь идет, я старею, а как мне надо жить, до сих пор не знаю. Спасибо, хоть вы зашли.

И вдруг, как-то по-новому взглянув на него:

Может, вы чего присоветуете? Я вам сейчас покажу мои наработки.

Он схватил свои бумаги и моментально выскочил из-за своего стола, маленький и юркий, и очень ловко, очень быстро маленькими скорыми шажками зашагал к нему.

Он забормотал машинальные извинения, затворил дверь перед носом того и двинулся дальше. Это запросто можно было сделать, он уже понял, что из своих комнат они не вылазят, так там и сидят.

Опять та же полутьма.

Вдруг из полутьмы появилась шумная орава студентов. Точно такая же орава, какие он привык видеть, когда сам был студентом.

Гомон студентов быстро смолк. Опять полутьма. Тишина. Открыл еще дверь.

Там шел пир горой на сдвинутых университетских партах. Скатертью служила штора. Он машинально отметил, что стол был весьма

плебейским: консервы, простенькие салаты. Возвышалась огромная банка с маринованными огурцами. Бутылки с водянистыми, плохо отпечатанными этикетками. Но, чувствовалось, все были очень довольны. Осоловелый виновник торжества, сидящий во главе стола, вдруг воспрянул, увидев его:

О! Какие люди!

Все дружно на него оглянулись и зашумели, смеясь и улыбаясь. Видно, что он был здесь весьма желанным гостем. Он вгляделся в них. Всех их он видел впервые.

Как жизнь молодая? спросил кто-то и не то что бы даже спросил, а спровоцировал на такой ответ, после которого все уже лягут вповалку. Некоторые уже заранее приглашающе смеялись.

Он покивал им, осклабясь, и пошел дальше.

Зимой они собирались на громадной воронке, оставшейся от финской войны. Может, и не воронка — здорова больно, но все ее так называли. Играли в упрощенный хоккей без коньков. Клюшки часто тоже были самодельные. Их называли — «крюк». Или без хоккея, просто так встретиться, и летом, и зимой.

Во время игры и нашел его отец. Ну все, сказал он, идем, ехать надо. Они переезжали, из поселка в городок, поближе к Городу. Жалко было недоигранной игры.

Таким вот образом — очень просто — все они, и Киса, и Парамон, и Грыжа, и Паля, и Быча, и Семен навсегда исчезли из его жизни. После этого хоккея они виделись считанные разы, и им не о чем было говорить.

А потом их сменили друзья совсем иного толка…

Шел он как-то странно долго. Аудитории перестали попадаться. И стало как-то совсем уж темно. Один раз он чуть было не навернулся, но удержался на ногах — сам, потому как ничего не было видно вокруг. Он уже не был уверен, что он по-прежнему в университете. Он достал зажигалку, посветил вокруг ее маленьким огоньком. Какие-то непонятные стены. Вернуться, что ли? Но по инерции он продолжал идти, чуточку себе подсвечивая.

Вдруг он увидел человеческий головной мозг. Мозг был небольшой, тверденький на взгляд, вовсе не каша, какой он его себе представлял, с рельефными, четко вычерченными извилинами.

Кто-то обдал мозг водой, мозг зашипел, от него повалил густой серый пар. Он ничего не видел за этим паром.

Болван! раздался чей-то недовольный хозяйский голос. Ты мозги мне сжег, идиот! Ты знаешь, во сколько мне станут новые мозги?

Да я думал…

Индюк тоже думал!

Он испугался, но понял, что обращаются не к нему. Плаксиво оправдывающийся голос был не его. Он ничьих мозгов не сжигал, нет-нет.

Он двинулся дальше. Он чиркал и чиркал зажигалкой, и передвигался в череде мелких вспышек. Поворачивать ни разу не пришлось.

В очередной вспышке он увидел: «СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД». Так, подумал он, самое-то интересное и происходит за такими дверями, куда посторонним вход запрещен. Но может быть на этот раз он туда войдет, и узнает нечто такое, что…

И вдруг все оборвалось.

Он – в своей комнате.

Оба родителя сидели симметрично по разным сторонам его стола. Почему оба? Сразу? Что случилось?

Все было погружено в серый сумрак. Как будто на земле исчезла погода, и теперь так будет всегда, вечно. Лица родителей были так же серы, но отчетливо выступали из общей серости. Они смотрели прямо на него. Они молчали, и он понял, что они ничего и не скажут. Но, вглядываясь в них, он все больше и больше понимал, ЧТО они говорят ему, - не произнося ни слова, потому что это было бы излишне. Они больше не считали его своим сыном. Это уродливое, злобное, изношенное существо ничего общего не имело с тем

пацанчиком, фотография которого почему-то продолжала висеть в его комнате. Пацанчик, - милый, как все дети, - был их сыном, а э т о – не было их сыном, о н о вообще не было и не могло быть ничьим сыном. Он все больше и больше проникался кошмаром ситуации. Если он умер для них, значит он умер и для всех. И он не имеет права делать вид, что живет, вводить в заблуждение людей. Бесполезно умолять. Или может все-таки…

Он посмотрел на мать. Надменно поджатый рот и взгляд поверх. Она его не видит.

Да это же я, я, тот самый, как ты этого не видишь?? Что с тобой, ты ли это, мать??

Нет, тут все глухо.

Хоть, может, отец? Его ненавистный отец?

Слушай, отец. Я сделал все, как ты велел. Тебе нечего стыдиться своего сына. Я все прошел, все преодолел, но сделал. Я сделал все что мог! Все что мог и все что не мог, черт возьми! Тебе мало?! Ну хорошо, может и не все что мог, но неужели…

Он ничего ни сказал из всего этого. Бесполезно это, бесполезны слова.

И он пошел.

Он вышел на улицу, под отвесное солнце, в дикую жару, в дикий свет. Все-таки хорошо, что на улице никого нет, только пустая автобусная остановка. И множество открытых люков в асфальте. Он медленно брел, стараясь не шататься, не угодить в люк. Стены домов были нестерпимо белы. Вот что это значит – р о д н а я м а т ь н е у з н а е т. Он ступал, ступал ногами. Колотилось сердце, бросало в пот. В люках, внизу копошились какие-то серые рабочие люди. Он брел, как подстреленный, все медленнее, медленнее, и все более скорчиваясь, складываясь в середине, голова становилась все ближе к земле, он понимал, что далеко не уйдет. Он упал на колени, потом голова перевесила и он ткнулся в асфальт лбом, даже не почувствовав этого. Он корчился и ерзал на асфальте среди этих люков, в жаре, в свету. Все было кончено. Он теперь не сын.

Мужик. Без родителей, хотя бы умерших, без детства, хотя бы прошедшего. Грубое, хотя и хилое животное. Солнце нагревало ему лысину, символ его уродства и позора. Уже отключаясь, он услышал, как с сиплым свистом исходит из него дух.

7.БРАТ

Он проснулся, очнулся, как от вспышки. Открыл глаза и сразу же их закрыл, сжал.

Фиолетовая вспышка, четырехугольная, скорее бубновая, пропала, стянувшись в точку, делаясь, исчезая, красной.

Он мигом все вспомнил. Похороны брата, кафешки, пиво, сопов, шлюху. Вспомнил, как умер брат, последний разговор с ним. Вспомнил, кто он сам такой, вспомнил про контору, в которую надо опять ходить.

Все это смешалось в одну муть. В одну какую-то муть, бурду, которую не выносит, отказывается принимать душа.

Больно. Закрыл глаза. Нет, с закрытыми еще больнее.

А где это я? Засыпал же, вроде, дома? Или где?

Вокруг была каменная, ярко, огненно-оранжевая пустыня. Пустыня была не плоская, в ней господствовали плавно, зализанно закругленные холмы. Он пошел по пустыне, понимая, что ничего другого ему не остается. Сплошной камень под ногой, ни пыли, ни камешков. Да нет, не камень, скорее какой-то огненный оранжевый асфальт, чистый, положенный совсем недавно.

Асфальтовая усталость. Я устал от себя, от своих проповедей, от своей паствы. Я устал от мира, где правдивый — злобен, а добрый — лжив. Только лживый может быть добрым. Это при том, что есть множество злобных и лживых. Бывают ли добрые и правдивые? Никогда не встречал.

Он тупо шел по пустыне. Один раз посмотрел в небо и в его сверкающей синеве не нашел солнца. Это его удивило, но не слишком.

Было уже такое, и не раз было. Много раз было. Иногда на его путь ложились слабые тени непонятно чего, непонятно как образовавшиеся. Но светло было почти нестерпимо. Пустыня меняла цвета и оттенки, становилась, ржавой, красной, желтой. Только огненность оставалась прежней.

Борясь с ложью, я распространяю злобу. Это имел в виду брат. У меня нет слабостей. Я ничего не прощаю никому, я ничего не прощаю себе. И от меня веет сухой яростью. Уж лучше бы я был похуже. Зато проповеди мои были бы получше.

В глубине души я оправдываю себя тем, что мне тоже хреново. Плохое оправдание. Последнее прибежище.

Иногда он слышал рокочущий звук нескольких приближающихся с разных концов вертолетов. Вертолеты как будто выслеживали его, сейчас накроют. Но потом вертолетный рокот опять удалялся, становился еле слышимым. Он не боялся вертолетов. Ничего они ему не сделают. Вот, опять слабые тени. Он посмотрел вверх. В небе ничего не было.

Но разве это моя вина? Разве моя вина, что в мире я вижу одно зло? Мир для меня — это трухлявый, червивый гриб, в котором копошатся черви зла. Я не зол, нет, я всего лишь искренен и последователен.

Холмы были плавные, почти не чувствовалось, что идешь в гору. Он все шел и шел. И дойдя до последнего холма, взойдя на него, он увидел сухую равнину, но на этот раз красную как-то по-другому, отнюдь не огненную. Красная растрескавшаяся пустыня. И здоровые дыры, дупла в земле для каких-то пустынных гадов. Он пошел по пустыне, идти теперь стало труднее, под ногами была нормальная земная пыль. Вроде опять послышались вертолеты. Солнце появилось в небе и уже клонилось к закату. Он почувствовал, что очень устал и что ему очень жарко. Ноги приходилось волочь по этой пыли.

Жизнь желала превратить меня в вошь. А я не желал, не желал превращаться! Вот, полюбуйтесь на покойного. А я — вот он! Вот он

— я! Мое существование неоспоримо, никто не посмеет этого отрицать!

И плевать я хотел, каким образом я этого добился.

Солнце беспокоило глаза сбоку, не отставало. Туфли потускнели от хождения по пустыне. Сама их пыльная тусклость вызывала жажду. И в уголках глаз скапливалась пыль. Иногда он тер глаза, вытирая пыль из них.

Но сколько, однако, можно талдычить одно и то же. Я в сотый раз все это себе повторяю, и видно же уже сто лет, что это не помогает. Бреду по кругу. Только талдычить остается.

Надо спрятаться в какую-нибудь дыру от этого солнца, оно, похоже, не собирается заходить, только вид делает. А если там гигантский тарантул? А вот сейчас и проверим.

Но он очутился не в паучьей норе, он очутился в своей комнате.

Первое, что он сделал — кинулся на кухню, к крану. Он пил, быстро поглощал воду, не проливая, не упуская ни единой капли.

Напившись до отвала, он шмякнулся на свой диван и стал думать. Мозги как будто изголодались по мысли. Они уже больше не могли обходиться без нее.

А зачем истина? Ведь главное, чтобы с тобой соглашались.

Когда с тобой не соглашаются — вот самое горькое из одиночеств.

Всю жизнь я хотел быть п р а в ы м. Но я н е п р а в. Я неправ кругом. Мне и власть-то понадобилась, чтобы заткнуть глотку тем, кто посмеет сказать мне, что я неправ.

Васька прав. А я неправ. Тогда зачем мне власть, этот суррогат правоты? Ты можешь заткнуть глотку всем, ты можешь всех убить, но ты не можешь заткнуть глотку самому себе. Себя не перекричишь.

Я помешался на власти. А она мне была не нужна.

А почему я неправ? Зачем я спрашиваю почему? Я ведь знаю ответ: я неправ, потому что неправ. Я был рожден неправым.

Самоуверенные спорщики-идиоты. С ранних лет они внушали мне нечто вроде суеверного ужаса. Ведь они явно неправы, как же они посягают на высшее право правого?!

А вот так. Кто смел, тот и съел.

Сколько в жизни я спорил! И всегда я был неправ. Я был неправ уже до начала спора, я даже еще рот не успевал раскрыть. Я научился спорить, я быстро загонял своих противников в угол, они прибегали к идиотским уверткам, мне становилось противно… И тем не менее, они были правы, а я нет. Как это им удавалось? И почему мне не удавалось? Почему правы все, кроме меня?

Я теперь презираю отца. Которого когда-то боготворил. Он такой же, как я, но даже мстить он не посмел. Вообще, я презираю мстителей, а значит, и себя самого, но струсивших мстителей я презираю вдвойне.

А отец избежал мести, превратившись в кого-то другого. Нет смысла мстить ему теперь. Вот тогда – когда, например, часы с кукушкой, - тогда и надо было – лыжной палкой в глаз. Убить ублюдка. Отольются тебе, батя, эти часики. То-то бы все удивились! Но тогда я струсил. И теперь тогдашнюю свою трусость уже ничем не исправишь. Хуже того – я даже не осмелился возненавидеть отца. Я возненавидел его только позже, когда он стал практически не опасен. К чему эта ненависть? Какой теперь от нее толк? А вот тогда бы… Соль в чай, стекло в простыню. Как партизан. В дурдом бы сдали… Какая разница теперь…

Не сметь возненавидеть – что может быть унизительнее? Не смочь даже самого малого – хотя бы мысленно плюнуть в харю. Единственным неотъемлемым правом слабого – ненавидеть – я и то не воспользовался.

И этого уже ничем не исправишь.

А если убить отца? Пойти сейчас и убить.

Это высший оргазм – оргазм освобождения. Целый день не ссал и с наслаждением обоссался. Нет, лучше. Лучше, чем эякуляция. Лучше, чем все.

Месть-освобождение — вот это высшее, доступное смертному…

Ну как, батя, помнишь те часики? Нет? Ну так я тебе напомню.

У него сердечный приступ начнется. А скорую мы вызывать не будем. И он медленно издохнет. И последнее, что он будет знать: это я, я, его сын, убил его.

Он не будет даже знать за что. Не за часики же, в самом деле? Но я ему не скажу. И в этом высший кайф.

А я буду знать за что. За то, что ты был п р а в , вот за что. Он этого не узнает.

Мать жалко. Нет, я не сделаю этого ради нее. Так отец и не узнает, кому он обязан жизнью. Его вторая мама.

Мать, как Лизавета, оказалась некстати. Из этих самых Лизавет состоит большинство человечества, и вечно они путаются под ногами у серьезных людей.

Нет, я не сделаю этого, и дело не в матери. Не только в ней.

УБИТЬ СИЛЬНОГО — НЕ ГРЕХ. А ВОТ СЛАБЫХ НЕ ТРОНЬ.

Да. И с этим поделать я ничего не могу.

Этот почтенный седовласый старец теперь слаб. И, следовательно, не может быть убит. Вот тогда, когда мне было три года, мне и надо было его убить. А теперь поздно. Он ускользнул.

ЗНАЧИТ ТАК — ВЛАСТЬ МНЕ НЕ НУЖНА. А ПРАВЫМ МНЕ НЕ СТАТЬ.

Но еще не все счеты покончены. Покончим последние.

Я раздираем между мстительностью и жалостливостью.

Почему я так жалостлив буквально ко всему, несмотря на то, что во мне кипит зависть, мстительность и ненависть? Сводится ли одно к другому? Я пытался, но у меня ничего не получилось, во мне соседствуют эти два начала. Они борются между собою, пытаясь убить друг друга, но во мне царит вечная ничья.

И никак все не прыгнуть ни в ту, ни в другую сторону.

Мстительность из жалостливости?

Жалостливость из мстительности?

Понял наконец.

Жалостливости, которой я тайно чуть ли не гордился, во мне никакой нет. Есть лишь постоянный страх за себя. Я просто очень легко ставлю себя на место жертвы, - а в роли палача я себя не мыслю, только в роли жертвы, - ну и, естественно, сразу б о ю с ь за себя или, как мне кажется, ж а л е ю . (А почему только в роли жертвы? Фрейда спроси. Да и так понятно. Я уже говорил об отце).

Теперь. Я боюсь неправоты, потому что я боюсь одиночества, незащищенности. Как и жалостливость, это еще одна форма страха за себя.

Таким образом, все это время мною двигало лишь желание пребывать в как можно большей безопасности. Психологически. (Психологическая – самая главная безопасность, для ребенка она вообще единственная). Рыл для себя ров за рвом, возводил вокруг себя защитные стены в е л и ч и я .

Величие – иллюзия безопасности.

Мне была нужна толпа моих фанатов, защищающая меня от другой толпы, потому что именно толпы я всегда боялся больше всего. Больше отца, больше собак. Хотя я и ненавидел отца, но все-таки это была защита. Толпа – это не-дом, не твой родной дом, антоним дома. Только толпа может победить толпу, толпа-друг. И я создал ее, толпу-друга.

Вот тебе и весь сказ.

Что мне делать?

Но ведь я хотел с у щ е с т в о в а т ь с помощью их. Брата не было, а вот я был, был, был! ОНИ знают меня, и этого вещества - «ОНИ» - было у меня очень много, а у брата очень мало. Значит, я очень даже был, а брата почти не было. Мой тяжелый мешок и его, очень легкий. У меня огромный-преогромный мешочище с «ОНИ»!

Сначала я хотел раствориться в НИХ, потом противопоставить себя ИМ, потом властвовать над НИМИ.

Придурок. Избранник. Пророк.

Как становятся пророками.

Но сам рецепт был неверен. Никакие «ОНИ» мне вообще не были нужны, ни в каком качестве.

Стоп. СЛАБЫХ НЕ ТРОНЬ! Откуда во мне это?

Но ведь я и раньше все это знал. Что же изменилось? Что умер брат? Дело не в этом, скверно, конечно, что он умер, но рано или поздно… Да я уже и давно отгородился от него, как от смертельно больного…

Он метался по своей комнате. Он все еще боролся за ненужную ему жизнь. Он смотрел за окно, на соседнюю крышу, на серое небо. На шкаф с дареной посудой. В пол. В потолок. Ни за что уцепиться было нельзя. Он тонул, а они оставались. Кто-то тяжело отсчитывал его последние секунды. Бежать было некуда. Тяжело, очень тяжело. Неужели нельзя отсчитывать последние секунды полегче?

Он стоял посреди комнаты и озирался. Не то он искал крюк на потолке, где его не было, не то какой-то чудом обнаружившийся выход, какую-то мысль-спасение.

Взгляд его упал на детскую фотографию на стене. Не было. Не было этого, не было никогда, врет она, гадина! Меня н и к о г д а не было! Я убью себя, я убью всех, кто меня знал, чтобы меня не было н и к о г д а ! Тяжело дыша, с чернотой, заливающей глаза, он протопал к ней и вцепился в нее когтями.

Клочки разлетелись невинно по комнате, лишь чуточку засорив ее.

Драть когтями больше было нечего. Посуду в шкафу перебить напоследок, что ли? Но он только махнул рукой.

Да, я был. И этого не отменить. Хоть сто раз повесься.

Зачем-то он метнулся к своему письменному столу и начал, грубо ерзая, с натугой выдвигать тяжелые, громоздкие ящики, один за другим. Там были тетради, куча неряшливых, разрозненных бумаженций, с непонятно чем написанным на них, высохшие

фломастеры, попалась даже маленькая таблица Менделеева. Кнопки, скрепки. Масса какой-то трудноопределимой, трудноназываемой дряни. Все годами, десятилетиями скапливалось здесь. Ничего он не выкидывал, боялся выкидывать, боялся неизвестно чего.

И вдруг в глаза ему бросилась старая дешевая бумага дяди Валиной «Примы». Он взял ее в руки.

И вдруг успокоился.

Слегка шершавая под пальцами.

Ничего не понимая, боясь всякого смотрения по сторонам в своих мыслях, мысленного оглядывания, он тихонько подошел к дивану и осторожно сел на него. Потом, медленно-медленно, осмелился откинуться на спинку, принять спокойную, комфортную сидячую позу. Открыл пачку, достал сигарету, закурил. И еще раз успокоился. Непривычно крепкая. С целым букетом вонючих запахов.

Сволочь я? Ну и что… Не я один…

Он сидел спокойно и курил.

Ему вдруг стало все равно. Ему вдруг стало наплевать на себя. Зачем себя убивать? Что за дурь? Да и дело вообще не в нем. Слишком мелкий он объект, чтобы поднимать вокруг себя суету, даже если единственный суетящийся — он сам.

Да и многое можно возразить. Во-первых, настоящих сволочей не так много. Далеко не всем это дано; быть сволочью - это тоже дар божий. Во-вторых, именно постоянный страх за себя сделал многих из этих сволочей сволочами. И никакой особой жалостливости никто за ними не наблюдал, уж чего-чего. Если страх за себя принимает форму жалостливости, то это не худший вариант. Да и вообще: он хоть достоинствами и не блистал, но до сволочи явно не дотягивал. Было бы уже откровенным юродством, мазохистской бравадой, настаивать на обратном. Более того, можно было даже, если очень хочется, поставить себе в заслугу то, что он, с такими задатками, все-таки не стал сволочью.

Отравой торговал? Ох, кто ей только не торговал… И ничего. Только взгляните на их портреты.

Действительно, что это за манера сразу рвать рубаху на груди. «Один за всех виноват»! Что за вопиющая нескромность! Что за мегаломанические притязания! Ты за себя-то самого сумей быть виноват. Манер, манер нам не хватает. Надо всегда оставаться джентльменом – вот в чем суть.

Но почему-то ему стало все равно. Он вяло, машинально перебирал и самообвинения, и самооправдания, и ему было ровным счетом наплевать и на те, и на другие.

Не равнодушие даже, а некий беззлобный пофигизм. Что это за цепочка такая: боль – окончательное решение – ярость - пофигизм?

Что за черт? Так не бывает. А может бывает?

Что-то с ним происходило… Он пока не понимал что.

Он вдруг поплыл.

Он почувствовал мгновенный испуг, увидев себя и свою комнату со стороны, - удаляющуюся, остающуюся где-то в стороне и внизу. Он увидел и себя. Он был непроницаемо черной бесформенной тенью, но он знал, что это он. Все уплывало, исчезла его комната, исчезло все, последней исчезла черная тень, но и она исчезла

он оказался в свету и в прохладе, он дышал прохладой и чувствовал мятный холодок в горле, свет исходил непонятно откуда, он напоминал солнечный, но лишенный солнечной безжалостности, свет менял свой источник, и его лучи падали на него под разными углами, и цвет света мягко варьировался, всегда, однако, оставаясь мягким и нежным, плыть в свету и в прохладе было божественно, голову слегка кружило, и сознание то меркло, то прояснялось, как будто в этот свет и эту прохладу подмешали эфира, это было несказанно приятно, головокружительно, и так же не без приятности, легонечько-легонечко подташнивало, как, опять же, от эфира, но свет становился все неподвижнее, все интенсивнее, все белее, все труднее было переносить его, и одновременно его наполняло ощущение покидания, бесконечного освобождения, отрешения, оставления всего и вся где-то внизу, позади, так же он чувствовал, что он поднимается, возносится все выше и выше, хотя он и не знал точки

отсчета, а потом эти чувства сменило одно огромное чувство предвкушения и неотвратимости, эти чувства заполнили собой все, - больше не было, не осталось сил их выносить, и белый свет стал совершенно непереносим

что-то разомкнулось, как будто выпустив его

и он вплыл из прохлады и света в неведомую, огромную, бесконечную пустоту, увидел то, о чем до сих пор лишь читал или слышал; и он вдруг понял, что всю жизнь, всем сердцем, до судорог любил эту пустоту, эту чистоту, любил и стремился к ней. Вот наконец он понял это. Он понял, что хотел только этого: любить, любить *бескорыстно*, любить то, что в принципе не может любить в ответ, не может ответить взаимностью. Только так, ничего не ожидая взамен, и можно раствориться в любви, человеческая же или человекоподобная любовь поражена взаимностью, ожиданиями, подозрениями… Пусть он исчезнет, обратившись во прах, но останется эта великая пустота — чего еще можно желать? Какая разница, что случится с ним? Ведь он *увидел* ее, а значит его дело выиграно, пусть даже без него самого…

И наконец он понял, что хотел от него брат. Хотел, чтобы он *увидел*. Вот что брат требовал, хотя и не мог, а, может, не хотел, этого выразить. И теперь, кстати, он должен увидеть брата и отдать ему то, что должен. Что ж, нет ничего проще.

Он оказался в парке. Стояла осень. Парк был простенький, ни особой ухоженности, ни особого роскошества в нем не было. Он смотрел на осенние рощи, на осенние озера, на прогулочные дорожки с редкими скамейками на них. Мягкая, светлая осень. Чудесный погожий день. И рощи, и озера были везде, куда хватало его не слишком длинного взгляда, но он чувствовал, что это еще одна бесконечность, одна из бесконечного множества бесконечностей. По дорожкам, в погожем осеннем дне, должны прогуливаться люди, должны сидеть на скамейках, прощаясь с осенью до следующего года. Но никого не было. Люди будут в другой раз, но в *этот* раз их не

будет; он знал, что где-то, затерянный среди рощ и озер, сидит на скамейке его брат. Надо его найти. Что ж, нет ничего проще.

И он отправился в путь.

Брат сидел на скамейке, спиной к нему, склонившись, как Архимед над своими чертежами. Он одиноко чернел, как ворона на суку. Он подходил к брату сзади. И вдруг брат обернулся, совсем как живой, и глянул прямо ему в глаза. Он аж приостановился. Потом кивнул, брат ответил кивком. Обошел скамейку и сел рядом. Брат, энергично повернувшись, придвинувшись к нему, сразу заговорил, сразу о деле, как будто и не расставались. Брат сказал:

А ты знаешь, я наврал тебе тогда. Я не травился, сам помер. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, но я хотел тебя спасти. Ты погибал. И теперь ты спасен, я знаю. Я вытащил тебя из гроба.

Подожди. Так значит, я тебя не убивал?

Нет.

Так что же, значит…

Послушай. Я же спас тебя. Разве нет?

Он помолчал мысленно. И понял, что так оно и есть.

Ну, хорошо… начал он.

Продолжил.

Ну, предположим… Но вообще-то говорить рано. Просто гибель опять отодвинулась.

А так только и бывает. Кто-кто, а ты-то знаешь.

Да, знаю.

Ты же был на грани самоубийства, хотя, как всегда, и делал морду кирпичом. Я обманул тебя, потому что знал, что тебе было нечего терять. Это могло бы ускорить твое самоубийство, но ты все равно убил бы себя, без всякой моей помощи. А так — появилась надежда. Я тебя хотя бы встряхнул. Абстракции есть абстракции, а вот конкретный труп — другое дело. Я тебя знаю; никакой доктриной, или там, верой, тебя не провернешь, не тот ты парень, ты посмеешься над любой, если захочешь. А частность, аффект,

«единичность», всегда заставляют нас перетряхивать все наши теории и начинать с самого начала. А уж тебя – как никого.

Он молчал и слушал.

Брат, посмотрев на него, продолжал.

Конкретность, частность - великое дело. Без них мы бы сошли с ума от собственных теорий. Благодаря мне ты испытал целительный удар о материю. Тебе было больно, но это тебя спасло.

Вздохнув, брат добавил:

Жизнь вообще такая штука, ее невозможно описать в общих словах. Конкретности, неповторимости, имеющие свои вкус, цвет и запах и составляют ее. Конкретности, НЕ ДОПУСКАЮЩИЕ обобщения. В этом случае обобщение есть убийство. Если без пафоса – потеря предмета обсуждения.

Он слушал, но решил вернуться поближе:

Но почему ты решил, что я был на грани самоубийства?

А ты с этим не согласен?

Согласен. Но тогда не согласился бы. Ты-то как догадался?

Потому что нельзя жить так, как жил ты. Нельзя жить так, как жил я, но и как ты – тоже нельзя. Нельзя жить с таким адом в душе. Рано или поздно он убьет тебя. Кроме того, - я знаю, для тебя это важно - твой внутренний ад – это не только твое дело; он ведь убивает не только тебя, он убивает и других. Чума, зачумленный – это же твои термины, которые ты применял к себе. К себе, не к кому-нибудь. Твоя «чумная крыса».

Так что ж, значит, принудительный оптимизм? А если я чувствую так?

А ты не чувствуй так. Да оптимизм и не может быть принудительным. Да и не об оптимизме я говорю. Но, как я понял, тебе не нравилось быть чумной крысой? А коль так, то тебе не мешало бы хорошенько себя проветрить. А может, брат улыбнулся, и переоценку всех ценностей произвести бы не мешало. Тебе надо вылечить душу от ее гноящихся, смердящих язв. И только тогда идти к людям, если ты хочешь оставаться пророком.

Но если страх, боль и ненависть – все, что я чувствую? Как мне быть? Держать в себе? Что ж, может, оно и вправду так лучше… А страдание – это что, недостаток? Я – страдаю, и я же – виноват?

Не сердись.

Да я не сержусь…

Он действительно не сердился, ничуть. Вот уж, кто бы мог подумать…

Брат улыбнулся.

Страдание – не недостаток, конечно. А иногда и достоинство – с этим все ясно. Во всяком случае, в страдании ты не волен. Но ГОРДОСТЬ СТРАДАНИЕМ – уж никак не достоинство. Тем более, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ СТРАДАНИЯ в себе. Вот это уже – недостаток. Страх и, как следствие, ненависть – тоже нельзя назвать недостатком. В них ты тоже не волен. Но НЕЖЕЛАНИЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ их в себе, тем более, ДОРОЖИТЬ ими и даже стричь с них купоны - недостаток.

Получится у тебя или нет – неизвестно. Но ты даже и НЕ ПЫТАЛСЯ. И вот это «и не пытался» - и есть твой главный грех.

Забота о собственной душе – не только тебе самому она нужна. Она нужна для других.

Да и самому тебе, если попросту, – неужели не надоели свои собственные экзальтированные завывания? Твои извечные надрывы? Ну, один раз, второй, третий. Сколько ж можно? Петь собственную боль – легко. Трудно – петь чужую радость.

Я всегда был о тебе высокого мнения, да и сейчас тоже. Иногда ты вызывал мое восхищение, да и сейчас иногда вызываешь. Но, как говорил нелюбимый тобой Платон… Потерпи. Сейчас воспроизведу.

«Вот в чем гибель и вот как велика, друг мой, порча лучших натур, предназначенных для благороднейшего занятия! И вообще-то подобные натуры редкость, как мы утверждаем. К их числу относятся и те люди, что причиняют величайшее зло государствам и частным лицам, и те, что творят добро, если их влечет к нему; мелкая же натура никогда не совершит ничего великого ни для частных лиц, ни для государства».

«Для государства», усмехнулся брат, закончив цитату. В иной контекст помещено, но ничего, сойдет. Так вот. Ты натура не мелкая. Но до этого высказывания не пожелал додумываться. По-моему, и на моих похоронах я что-то такое тебе говорил.

Да я, в общем, додумывался… Но ты, братец, крепко дал мне по балде. Волей-неволей пришлось все пересматривать, перетряхивать, как ты говоришь. Ну, все не все — многое. Иногда мне даже кажется, что повод был не важен. Ты извини, конечно, спохватился он, неловко, поспешно усмехнувшись.

Да все нормально, улыбнулся брат в ответ. Шокотерапия.

Хм… Ты знаешь, я не умею смеяться. Или хохотать, или хмыкать всем пузом. Или криво растягивать рот.

Научишься.

Вдруг он сказал:

А ты знаешь, я *увидел*.

Конечно, *увидел*. Иначе мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Что ж, ты сделал первый шаг.

Они молчали и смотрели друг на друга. Брат сказал.

Да ты не терзайся. Не сожалей о том, что было. Всех нас сорвало общим ветром — хороших и плохих, сильных и слабых, везучих и невезучих. Ветром, ураганом поиска и неприятия. А кто где окажется в результате — поди знай… Мы же песчинки, мы и не понимали, что происходило. Только теперь, задним числом, начинаешь помаленьку что-то соображать… Ты оклеветал себя - ты представил себя расчетливым циником, но ты так же ни черта не понимал, как и все остальные. Это в тебе говорило отчаяние, принявшее форму раздирающего цинизма. Но мы можем с интересом наблюдать, чем все кончится. Я вот уже кончил наблюдать, а ты еще понаблюдаешь. Понаблюдай. Таким, как ты, стоит понаблюдать.

Стоит?

Стоит, стоит. Не волнуйся. Твоя жизнь — это довольно интересное стекание кофейной гущи. Так что давай. Не грусти и не печаль бровей.

Он улыбнулся, как-то посветлев.

Интересное, говоришь? Что ж, тогда действительно посмотрим, чем все это кончится. Торопить не буду.

Прощай.

Прощай.

Не надо помнить о смерти – чего о ней помнить. Но помни о проигравших. О недошедших, недоползших, недоплывших. Ты, выигравший, преуспевший, гордящийся, чванящийся собой, - помни. Нет никакой твоей заслуги в том, что ты преуспел. Тебе просто повезло. Прежде всего – с самим собой. Ну и с обстоятельствами, которые оказались не настолько крутыми, какими могли бы быть – на голову тебе не свалился кирпич, ты не умер от саркомы, не попал под трамвай. А еще как мог бы. Но, повторяю, прежде всего – с самим собой. Себя ты не выбирал. Просто у тебя умер дядя в Америке, о существовании которого ты не подозревал, и ты получил его наследство.

Мы, выигравшие, горстка добравшихся, дорвавшихся. А за окнами - прильнувшие к ним

Так вот, помни о них. Поставь за них воображаемую свечку. На их крови стоит твой храм.

Он очнулся на темной, незнакомой улице.

В руке у него по-прежнему была дяди Валина «Прима». Он внимательно оглядел ее со всех сторон, подтянув очень близко к лицу два пальца с нею, средний и указательный. Потухшая. Дешевым хабариком воняет.

Плохо еще соображая, он вновь ее раскурил. Ничего. «Прима» как «Прима». Докурил, выбросил хабарик.

А где сейчас дядя Валя? подумал он. И вспомнил, что дядя Валя давно умер. Очень давно. Как быстро это «давно» наступило.

Внезапно он заметил, что его со страхом и любопытством разглядывают мальчик и девочка лет тринадцати-четырнадцати. Страх и любопытство боролись друг с другом, и ничто не побеждало.

Меня трахнула пустота, сказал он им.

Представляете! Совершенно незабываемое ощущение! воздымая руки, он заклинал их присоединиться к его триумфу.

Страх одержал убедительную победу, и мальчик с девочкой сразу же заспешили прочь.

Эй, подождите! воззвал он к ним, ему страстно захотелось поделиться с ними тем, что с ним произошло. Представляете, всего-то лишь закурил сигарету, причем «Приму» какую-то…

Они пустились наутек. Он удивился. Поудивлявшись некоторое время, он стал прикидывать, где он находится. И узнал улицу. Это была соседняя улица, минутах в десяти от его дома. Надо же — как близко от дома он приземлился.

«Бог умер». Теперь он умер в нем по-настоящему, то есть в его смерти он перестал видеть трагедию. И перестал видеть трагедию в том, что перестал видеть трагедию. И перестал видеть трагедию в том, что перестал видеть трагедию в том, что перестал видеть трагедию в том и т.д.; пока не надоест.

Что-то напоследок воззвало в нем: верните мои гнойные язвы, вшей и чуму, верните мне пропитанные кровью святые камни Европы, верните «Бог умер», «Господь своих спознает», «Верую, потому что абсурдно», TE DEUM и DIES IRAE, терновый венец, провонявшую плащаницу, мою «Тошноту», моего «Постороннего», мою болезнь-к-смерти и мою волю-к-власти, мой невроз, мой Эдипов комплекс, мой садомазохизм, мое сумасшествие, мое отчаяние, мое безумие!.. Мне страшно расставаться со своими страхами, что я буду делать без них?!!

Но ничто не откликнулось.

Христианство умерло. Христианский бог умер. Европа умерла. История Европы умерла.

И ему было плевать.

Я — всего-навсего скопление мертвых молекул, подумал он.

Ну да, разумеется. И что?

Абсолютная истина недостижима.

Да и хрен с ней.

Я конечен и смертен.

Хреново, но не размазывать же из-за этого сопли по всей оставшейся жизни?

Я — песчинка, затерянная в хаосе.

Если угодно. И дальше что?

Он уже смеялся, но все равно, для очистки совести, пошарил в поисках еще какой-нибудь «вечной темы».

Мое существование трагично.

Не замечал что-то.

Мое существование… это самое… абсурдно.

Надо же!

Я трагически одинок, наконец!

Ну, значит, жениться пора.

Он сдался. Чего в этом роде ни придумай, результат будет тот же. Его мозгам поставили такую мощную клизму, что неизвестно еще, когда накопится следующая порция. А кто ее поставил? Черт ее знает… Сама как-то поставилась… Да нет. Поставили ее два человека.

Трагедия умерла, вдруг догадался сказать он.

И вот тут его заколдобило.

Да, вздохнув, вынужден был признать он.

Взгрустнулось. Вспомнил все. Все вспомнил. Но ничего не поделаешь. Умерла так умерла.

А как же ВЕЛИЧИЕ?

Он не знал, что ответить.

Порывшись в сидишниках, он нашарил, что ему было надо и включил.

Сел слушать.

Низкий мужской голос пел по-американски. Тенькало банджо.

I’m goin’ on a mountain,
Gonna see my baby,
And I ain’t comin’ back,
Lord, I ain’t comin’ back.

Как просто… А ничего и не надо.

Отдался песне. А не надо никому отдаваться. Будь в. Будь с.

Потрясающий город Мичиган-сити, Индиана. «По его улицам он прошел свою первую свободную милю». Может быть, и он сейчас в начале своей первой свободной мили.

Он слушал еще много американских песен. Он вглядывался в незамутненную душу этой страны, дышал ее воздухом, небом. То горы ему мерещились, то облака, то реки. Ничего из этого он не видал.

Он услышал про индейца, героя войны, белые перекрыли воду, где жило его племя, и там все позасохло, но пришла война, и он пошел добровольцем, забыв белым все, и вернулся героем, но он был всего лишь индейцем, а другим индейцем вообще было на его геройство плевать, и он начал пить, как индеец, и «тюрьма часто была его домом».

Рано утром он умер в канаве, на той самой земле, которую защищал. Но его дух все так же ПАЛИМ ЖАЖДОЙ.

Услышал он про то,

как я гонялся за ней по всей Большой Реке, и только я добирался до того места, как она уже его покидала, отправившись или вверх, или вниз по Реке.

Сент-Луис

Мемфис

Батон-Руж

Нью-Орлеан

Ее нигде не было.

И тогда я понял, что Реку она любит больше меня.

Пил чай. Слушал.

Подмел и выбросил в мусорное ведро клочки своей детской фотографии.

Незаметно он уснул…

Когда он проснулся, стояла тишина. Именно этой тишине он удивился, хотя и раньше городские звуки не достигали его дома. Тишина была в нем. Он слушал и тишину внутри, и тишину вовне.

Какая огромная тишина. Все было подчинено ей.

Подошел к окну. Небо нависало низко и было тяжело, серо и плоско. Но он был рад ему. Не нужно ему было сейчас солнца. Нужно было, чтоб спокойно. Небо охраняло спокойствие. Оно было тяжело, но он не чувствовал его тяжести. Он глубоко вздохнул, глянув на него. От окна отходить не хотелось, и некоторое время он смотрел.

Случайно задев взглядом часы, он с удивлением увидел, что сейчас еще вполне рано. День вовсю. Он почему-то уже думал, что уже вечер — уж очень много чего произошло. Да и на улице казалось темнее из-за неба.

Он лег на кровать и курил, глядя в потолок. Курил одними губами, руки лежали каждая, где ей вздумалось. Не хотелось их беспокоить.

Колбаска серого пепла обвалилась с сигареты, прямо ему на грудь, рассыпавшись. Он продолжал курить, не обращая внимания.

Закурил из любопытства «Приму», пачка которой так и осталась лежать на диване. Ничего. «Прима» как «Прима». Докурил и спрятал пачку в стол, туда, где нашел ее.

Подумал о музыке, но она бы разрушила его внутреннюю тишину, и он не стал включать ее.

Долго сидел у окна, пил чай. Здорово было курить, прикрыв глаза.

Хорошо бы сейчас походить по открытому полю, под таким вот небом, по мокрой, чавкающей, пока еще зеленой траве, и ничто не нарушает равнины, разве лишь исчезающая полоска леса вдали… Ну, пару строений, может.

А ведь это не проблема.

И ему захотелось движения, звука, красок. Он уже отдохнул.

Некоторое время он стоял под душем с закрытыми глазами, слушая шипенье воды.

После душа попил кофе и вышел на улицу. Он был все в том же костюме, который машинально опять надел.

Он не знал, куда пойдет. Он выбрал направление, тихо повиновавшись каким-то легчайшим, полубессознательным наитиям, понимая, что они не обманут. Покинул угрюмое, беззвучное запустение своего подметенного, вылизанного двора, огромные печальные стены своего дома и дома больницы напротив. И вышел на канал. Сразу стало больше света. Прошел немного вдоль канала, ему хотелось вести рукой по его чугунной ограде, как когда-то нравилось вести рукой по перилам на лестнице многоэтажки, ощущая гладкую прохладную резину под ладонью. Он остановился и взялся обеими руками за чугун, подержался, наблюдая за туристской суетой на другом берегу канала. Вышел на большую широкую улицу, где ходит много людей и ездит много машин.

Звуки большой улицы освежили ухо, краски освежили глаз. Ему стало радостно. Он с удовольствием шел в толпе, и в равной степени радовался и прекрасным старинным зданиям, и нахальным рекламам, и ярким вывескам. Народу было много, но ему нравилось лавировать среди людей, верно прокладывая себе путь, ища его и находя. И была какая-то странность во всем этом. Чуточку вглядевшись в себя, он понял, что за странность это была. Внутренняя тишина никуда не исчезла, она продолжала длиться в нем, хотя все эти городские звуки он прекрасно слышал. А народу много. Кого только не было, самые противоположные люди ходили по улице в этот час.

Он смотрел то под ноги, то вперед. И видел дома, уходящие, уводящие вдаль, строго, вертикально и горизонтально расчерченные, каждый с рельефным, регулярным, подчиненным определенному порядку узором. Некоторые из них мощно возвышались, выступая над улицей. Светлые, темные, желтые, розовые, зеленые. Много цвета, хоть и без ярких контрастов. Даже серое небо отступило.

Так он и шел.

Пресытившись людской теснотой и пестротой, он свернул почти перед самой площадью, в которую переходила большая улица. Улица, на которую он свернул, была уже поменьше. Не такая парадная, но зато более милая. Пройдя совсем немного, он вновь очутился почти в тишине.

И он шел и шел, все больше углубляясь в эти красивые, тихие улицы.

Он открыл в себе способность медленно ходить. Он понял, что идет медленно, по непривычному относительному постоянству окружающей его обстановки. Дома стали какими-то длинными… Все идешь и идешь вдоль одного и того же. А, ясно, - иду медленно. Он не торопился, как обычно, не дергался, не подпрыгивал, не озирался.

И было немножко печально на какой-то новый, неизведанный прежде манер. И непривычно легко.

Сел в скверике отдохнуть. Он уже отошел от центра, и скверик, хоть и вполне еще городской, напомнил ему о его далеком провинциальном прошлом…

монотонный, возвращающийся, поскуливающий скрип качели

трава «гигантские шаги» и колесо обозрения пенсионеры в мелко-сетчатых шляпах над шашечными досками облака

равномерный скрип покачиваемой коляски семечки плевки и хабарики пыль

Это было тогда…

Алкашная компания напротив занята пивом, делая множество лишних движений, издавая множество лишних звуков. Не оторвать было

взгляд от раздутой, синюшной бабищи, которая, однако, повелевала там, и ее кошмарная фактура, похоже, только работала на ее авторитет, с ее ногами больного, шелудивого слона.

Два молодых человека за спиной сдержанно матерились, обсуждая свой бизнес. Иногда негромко, скромно, побулькивало пиво.

А в том конце мужик, совершенно отдельный, заслонил себя от всего огромным газетным разворотом. С хрустом перелистывал газету, оставляя почти жестяные вмятины на газетной бумаге.

Он смотрел благостным взором на все это.

Можно пойти дальше и дальше, и его городок будет постепенно возвращаться, а потом пойдут леса, леса и дачники с частниками.

Но, однако ж, пора было идти назад, в город. Как-то он почувствовал это.

Появился ветер. Взялся откуда-то. Теперь по небу плыл серый дым. Впрочем, были там и островки спокойствия, светлые и неподвижные. Небо из плоского стало объемным. И из охраняющего стало беспокойным. Что-то от неба передалось и ему.

Стало зябко, он застегнул пиджак.

Еще один канал. Вода в канале бежала быстро, быстрее, чем серый дым на небе. Он постоял у канала, глядя попеременно то на воду, то на небо.

Ему не хотелось домой, что-то не вЫходил, не выбродил он еще. Будем надеяться, что не пойдет дождь.

…Он ходил по городским улицам, то и дело сворачивал в переулки, выбирался из них, вновь сворачивал, вновь выбирался. Читал подробно вывески. Останавливался у реклам. Смотрелся в витрины, стараясь угадать себя в смутных отражениях.

Купил телепрограмму.

Съел хот-дог.

Сидя в кафе, он глядел в кофейную чашку, на пирожное на блюде, на прохожих, проходящих мимо, от которых он был отделен прозрачным стеклом. И вдруг застыл. Казалось, настала вечность. Он за кофейным столиком, ложка в руке, застигнутая и схваченная в

процессе отковыривания кусочка от торта, бело-коричневая кофейная пена, прохожие за стеклом на ветру… Это — есть. И было так, и всегда будет. Ветер покачивает дерево у перекрестка… Он прикрыл глаза и ощутил сладкий яд, медленно расходящийся по телу. Блаженство было такое, что, казалось, его не пережить. Он открыл глаза и вновь стал смотреть в окно. Он как будто исчез, но остался мир, и он, исчезнувший, каким-то образом воспринимает его, и уже непонятно, где он сам, а где внешний мир… Эк, как здорово треплет ветер то дерево… И он вспомнил, конечно же, то, что видел совсем недавно, покурив «Приму»…

Будем надеяться, что он еще будет выходить на связь, и дяди Валина «Прима» больше не понадобиться.

Вам еще что-нибудь? услышал он очень рядом с собой вежливый, но не без некоторой тревоги голос.

Он нехотя вернулся.

И улыбнулся официантке, смотрящей на него с легким беспокойством. Его улыбка это легкое беспокойство не развеяла. Секунды две посмотрев на официантку, увидев, наконец ее, он еще раз улыбнулся, вполне уже светски.

Еще кофе, пожалуйста.

Официантка с готовностью улыбнулась в ответ, поняв, к своему облегчению, что ничего особенного не происходит, кивнула и отошла.

Хорошо, что она вернула меня. А то так можно пропасть, рас-твориться в этом дереве, в светофорах. В этих людях за окном. В кирпиче дома напротив. В небе и в ветре.

Расплатившись, он вышел из кафе. Посмотрел на телепрограммку в руке, похлопал себя ею по бедру.

Пошел куда-то…

Почему-то опять захотелось есть. Набредя на тетку, продавав-шую хот-доги, съел еще один.

И опять улицы и улицы, переулки и переулки.

Стало смеркаться. Ветер дул сильнее.

Он почувствовал, что устал. Сел отдохнуть на скамейку, развалился на ней, запрокинув голову. И опять все куда-то делось…

В затаенно-неспокойном, темнеющем воздухе города он и ходил.

…Он вспомнил, как совсем еще юнцом, когда только приехал сюда, он любил так вот ходить-бродить и сосредоточенно вглядываться во все, как будто стараясь что-то узнать, вспомнить что-то, вглядываясь, всматриваясь в то, во что он всматривался. Это что-то могло быть чем угодно. Человеком, его шляпой, облаком, лужей, собором, мостом, зажигалкой на скатерти. И как любил он отражения, в воде и в стекле. Отражения не только отражали, но, казалось, еще и добавляли чего-то своего. И острая, экстатическая грусть временами охватывала его. За такую грусть можно отдать многое. Так она редко его посещала, растаптываемая людьми, голосами, заботами.

И сейчас он узнал то, старое.

Опять меня тянет в море,
Где небо кругом и вода,
Мне нужен только высокий корабль
И в небе одна звезда.

Опять меня тянет в море, которое я уже забыл, когда видел в последний раз, не говоря уж о том, чтобы плавать по нему.

Стоял у афиши кинотеатра. Афиша зазывала своей величиной, красками, пистолетами и автоматами, бицепсами, громкими именами, деятельным мужеством лиц. Парочка стояла у афиши приобнявшись, разглядывая афишу. Юная возлюбленная была совсем юна. Они негромко совещались. Потом парень погладил возлюбленную по прелестной головке, чмокнул в прелестную щечку, и они пошли, все так же приобнявшись. Он посмотрел им вслед и не смог не улыбнуться.

Что ж, пора возвращаться домой.

Он вошел в метро, показавшееся ему таким приветливым, домашним. И в нем было много света, столь непривычного и столь теперь желаемого. И больше людских голосов.

Но, еще стоя на эскалаторе, он вдруг понял, куда сейчас поедет. Он поедет на т у с а м у ю станцию. На ту, где безногий плясун.

Было недалеко.

Еще толком не выйдя из метро, он стал искать плясуна глазами. Его не было. Он походил вокруг метро, вглядываясь как можно внимательнее. Нет, не было.

Он выбрал место, где поменьше народу и стал ждать.

В городе, между тем, уже давно зажгли огни. В этом городском море огней он и стоял.

Уставшие за день любовники спешат на встречу друг с другом из противоположных концов города. Для них скоро начнется ночь. Готовятся к ночи и подростки — уже скоро они начнут зажигать и колбаситься по клубам. Кто-то, припозднившись, возвращается с работы, сидит на метрошной скамейке, склонив голову, подремывая. Он устал. Для благовоспитанных детей скоро наступит нудная пора отхода ко сну, так они и не досмотрят день до конца. Кто-то уже давно пришел с работы и теперь, поужинавший, довольный, смотрит видак, потягивая пивко. Почтенные театральные дамы чинно расходятся после представления.

А он ждет безногого плясуна. Тупо ждет, куря, иногда прохаживаясь, заглядывая в лица. А в голове была одна и та же мысль:

Не надо слишком сильно страдать самому. Надо делать, чтобы другой не страдал. Вот и все. Это же так просто.

Плясун не пришел на встречу. Вздохнув, он пустился в обратный путь.

Дома он поставил электрочайник закипать, а сам уселся за телевизор, смотреть «комедийный боевик», который он нашел в программке. Пил горячий чай, смотрел. Киношка была недурна. Он смотрел с удовольствием, смеялся.

Под конец просмотра на него вновь навалился богатырский сон. Еле досмотрел. И с наслаждением, едва не исторгнув стон, бросился в прохладную постель. Секунд через пять отрубился.

Проснулся он черт-те когда. Уже по свету понял, что сейчас поздно. Посмотрел на комнатные, вдвинутые вглубь часы, сравнил с мельком увиденными перед сном вчерашними. Четырнадцать часиков. Вот так-с.

…Он вспомнил, как просыпался и в первое же мгновенье видел в окне березовые стволы и солнечные полосы на них. Выходной. Вся семья собралась за кухонным столом, чтобы лепить пельмени. Мать, отец, он, брат. Как было весело! Шутили, перешучивались, подмечали индивидуальные стили лепления. А кто-то, например, халтурщик – тесто тонкое, обязательно при варке прорвется, - и тогда из пельменя вытечет драгоценный сок. А кто-то «перфекционист» - слишком долго возится над одним пельменем. Впрочем, ясно кто кем, в основном, был: он – перфекционистом, брат – халтурщиком. Только мать делала пельмени быстро и идеально. Отец рассказывает что-нибудь интересное, на это он мастер. Хорошо было тогда, всем вместе. Не сыщешь теперь того гнезда…

Он и забыл, что сон может быть наслаждением. Когда последний раз он так спал? Правильно, в детстве. Он лежал в постели, чувствуя себя таким чистым, свежим, сильным, как будто кто-то заново выковал, изваял его; чувствовал себя тем самым идеальным пельменем, только что вылепленным матерью. Никакой сонной одури не было, - весь он был сплошное, ясное, деятельное бодрствование.

С наслаждением закурил. Курил, лежа в постели, лениво стряхивая пепел.

Покончил с утренним туалетом.

Одеваясь, чуть не надел вчерашний костюм, который валялся, разбросанный, на полу. Нет, хватит костюмов. Отнес его, повесил на вешалку в шкаф.

В шкафу он увидел братову рубашку. Как-то она тут оказалась, да и осталась. Он застыл. Застыл и смотрел.

Что с ней делать?

Набраться сил и выкинуть?

А может быть, набраться сил и носить?

Он снял с себя вчерашнюю рубашку и надел братову. Теперь это его рубашка. Вчерашнюю отнес в стирку, бросил ее поверх шлюхиного полотенца.

Его кофепитие прервал звонок в дверь.

Кто это? И без звонка? В смысле, телефонного. Но у него же теперь и телефона нет, он уничтожил его тапочным броском, а мобилу просто выкинул.

Отставив чашку, он пошел, любопытствуя, открывать.

На пороге стояли вице и шофер.

Ух ты! Какими судьбами? сказал он, широко разведя руки, будто для объятий. Ну, проходите, гостеньки дорогие.

Он, к собственному удивлению, действительно был рад их видеть и к тому же совершенно забыл, что они помешали ему пить кофе.

Здравствуйте, сказали они.

Он протянул руку.

Шофер, скрывая торопливость, протянул свою.

Через порог не здороваются, сказал шоферу вице и вошел.

Проходите, проходите, успокаивал он их, несколько, признаться, скованных. Кофейку сейчас дерябнем.

Вице с шофером глянули друг на друга и решили, что можно, похоже, и в самом деле расслабиться. И чувствовалось, что они удивлены — какой-то не такой он сегодня. Приятно удивлены.

Ну как оно ничего? спросил он.

Они все трое расселись на кухне, электрочайник был уже заправлен и поставлен нагреваться.

Вице покачал головой:

Напугали вы нас, чиф.

Чем это?

Да сколько уже не отзываетесь!

Почему ж не искали? он улыбнулся.

Искали… Но мы боялись… Зная ваш крутой нрав, вице завершил фразу улыбкой.

Вас же отвлекать было нельзя, жалобно вторил шофер, у вас брат умер как-никак.

Умер, вздохнул он. Эт-точно…

Они пригорюнились.

Ладно, сказал он. На хозяйстве был ты?

Да, сказал вице, не совсем с полной уверенностью. Вы же…

Правильно, уверенно одобрил он, закрывая тему. Происшествия были?

Да нет, в принципе…

То есть, контора работает в обычном режиме?

В принципе, да…

Молоток, вице. Не сомневался в тебе.

Вице чуть принаклонил голову, понимая, что это сказано абсолютно серьезно.

Он смотрел на вице и думал:

Вице — вот человек дела. А вовсе не я. Я пытался им стать, даже с виду стал похож на них, но так и остался кустарем-одиночкой. Дилетантом. Вот помри у вице брат, отчасти по его вине. Стал ли бы он вот так перетряхивать половики? Смеетесь… Пер бы и пер вперед. Ну, конечно, никому не понравится, что у него умер брат. Тем более так. Но это вовсе еще не причина… В общем: дранг нах остен; имел я все в виду.

Интересно, презирает ли меня вице, или пока еще нет?

Молчали некоторое время.

Внезапно ему захотелось сказать: берите контору и делайте с ней, что хотите. Но подумал, что время становиться блаженным дурачком еще, пожалуй, не пришло. Это ж бабки, это ж не просто так.

Допили кофе. Вице выложил ему новый мобильник. Не роскошь, а средство коммуникации.

Он как-то вдруг посерьезнел, как только захлопнулась за ними дверь. Опять тишина, так внезапно наступившая. Он пришел из кухни

в комнату, но не сел. Подошел к окну. Такое же, вчерашнее небо. Ветра немножко.

Почему-то захотелось посмотреться в зеркало. Он пошел в ванную и стал перед зеркалом. Было странно, очень странно. Как будто в первый раз он себя увидел. Неужели это я? Нет, не так. Неужели это т о ж е я? Каким он только ни был в предыдущей жизни. Каким только ни будет. Если будет. И все равно это тот самый он; и будет, и был. Надо же…

Тихонько пошел осторожный, пробующий дождь. Чуть слышно тикал и тенькал за окном; на ощупь, случайно, невпопад. Редко.

Он сидел на кухонной табуретке и слушал дождь.

Слушал.

Дождь напомнил о музыке. Давно ее не было, ему снова захотелось ее.

Иоганн.

Себастьян.

Бах.

Английская сюита №6.

Хотя, может, от моей деятельности и была какая-то польза… Вранья, лицемерия, действительно много. Девятнадцатый век был веком преступного упростительства и идиотического оптимизма, и породил страшный — двадцатый. Хотя и тогда были люди, которые говорили: ребята, не все так просто и прекрасно, как вам хочется. Неважно, по каким причинам они так говорили, пусть многие из них даже хотели как хуже, но все глубокое, пусть и одностороннее, заслуживает внимания.

Все имеет ценность свидетельства, ценность *симптома*. Мои проповеди — это симптомы.

Добро тоже несет свою долю ответственности за все то, что случилось в двадцатом веке. Оно здорово постаралось, чтобы стать чуть ли ни синонимом всего плоского, бездарного, безжизненного.

Кому нужно *такое* добро? А хомо эстетикус – есть хомо эстетикус. С ним шутки не шути. Он пойдет на *все*, чтобы остаться эстетикус.

Все я прошел, а на любви к кишкам сломался. Кровь, лимфа и слюни оказались сильнее меня. Жалко. Жалко, и все.

Приводите какие угодно доводы, но мне просто жалко. И это сильнее меня.

Эх, человек. Человечек. Кишки я твои жалею, кишки. Не твою жалкую взыскующую и тоскующую душонку, которой только поставь корыто с отрубями, и насытится она. Кишки – самое ценное, что в тебе есть, и ты даже не знаешь этого. Я еще могу смириться с убийством душ, - как это ни понимай, - но я никогда не смирюсь с убийством тел. Человеческих организмов. Человеческих животных.

Вот тебе и о п р а в д а н и е ч е л о в е к а .

Гитлер, ты убил много кишок. Поэтому ты н е п р а в .

Я хотел бы уничтожить подобных себе. Я знаю, насколько они сильны и опасны.

Я стал здоровым и, как следствие, перестал быть пророком. Мир перестал быть мучительным. А для пророка он должен быть таким – мучительный мир. А если и не мучительный, то он объявит, что мучительный и заставит поверить в то, что мучительный; мучительный для всех, в то время как он мучительный лишь для него одного. А иначе он безработный. Что ж, многие ему поверят. Почему? Не знаю. Поверят…

Я стал здоровым… Стал ли? Он подергал какую-то балку в себе. Вроде - держится. Что ж, посмотрим…

А как насчет моей «паствы»? А никак. Мне стало полегче, а им… Надеюсь, что им тоже повезет. Может, некое нечто придет к ним, и они перестанут прозябать в однообразном угрюмстве, уставившись в

него и ничего кроме него не видя. Если не ко всем, то хотя бы к кому-то из них. Я могу только надеяться за них. И это все, что я могу для них сделать.

Я сторонник либеральной демократии. Буржуазность неустранима, но зачем почем зря переводить кровь и лимфу? Буржуазное общество — мягкое общество, и я люблю его. Да и не надо мешать людям быть буржуазными — они не живут, но ведь им и не больно. Да и что значит «не живут»? Кто не живет, а кто и живет. Это пусть каждый сам решает для себя. А проповедовать, да обличать, да ниспровергать — зачем, скажите на милость? У каждого есть все, что ему нужно.

А пророки? Что ж, они процветают и будут процветать. Спрос на безумие всегда велик. Но я больше не один из них.

Поменять табличку "Мухомор" на табличку "Пастер"? PASTEUR. Профилактика интеллектуального бешенства.

Он взял пачку денег и поехал куда глаза глядят. Впрочем, он знал, куда они глядели — туда, где еще оставался его старый, самый первый дом. В такую погоду он, наверно, будет единственным дачником среди частников. Дом был желтым. Он не был там много лет, но дом, наверно, желтый и посейчас. Он верил в это, как и в то, что все там осталось по-старому.

Контора пусть работает в обычном режиме. Она надежно сбагрена в руки вице.

Поехал он на обычной электричке. А до электрички на метро. Устал он от машин. Да и дорогу хотелось посмотреть.

Вошел в тамбур, узнал его, отодвинул елозящую дверь, вошел, узнал электричку, ее запах. Мягкая обивка на многих сидениях была спорота. Народу было мало, он нашел более или менее уцелевшее сиденье.

Загудел, затрясся вагон, наполняя вибрацией каждую присутствующую в нем частицу. Тронулись.

Знакомая дорога. Через столько лет он верил, что она останется той же, и она действительно осталась. Чем дальше, тем меньше города, больше домишек. Лес, болотца, полянки.

Меньше, меньше домишек, больше, больше леса. Домишки только на подъезде к станции, и на отъезде от нее. Названия станций все те же, сам голос, который их объявлял, тот же.

И лес все дичее, неочеловеченнее.

Пустынное болото, все такое же, как и тогда, все так же густо заросшее нездорово сочной травой, и ветер все так же ходит волнами по нему.

Сосна на песчаном взгорье. Корни обнажились наполовину, песок осыпАлся, уходил из-под нее.

Давно не виданные березы. Вот одна, обвешанная кудрявыми, плакучими банными вениками, но сама стоит стройно, прямо. А вообще, постарели березы, устали как-то.

Приехал.

Взглянул на свой дом, обошел свой двор. Сыро было вокруг, серо. Стоял, смотрел, не знал, что чувствовать. Странно как-то было все. Странно… и больше ничего.

Все те же, все такие же густые заросли темной старой крапивы. Еще более злющей от старости.

Побродил немножко по окрестностям. Дачников нет, и частники все по домам.

Набрел все-таки на одну старую знакомую. Ничуть не изменившаяся, ярко выраженная частница.

Она что-то тяпала лопатой в своем мокром, темном саду.

Здравствуйте, Надежда Ивановна!

Здравствуй, ответила она; сурово, не до конца улыбнувшись. Мгновенно узнала его и ничуть не удивилась.

Как дела-то у тебя?

Нормально, Надежда Ивановна!

Соседка продолжила тяпать.

Неплохая, в общем-то, тетка. Сука та еще, правда.

Он ходил по осенним ранним туманам, по чавкающим травяным равнинам, тяжело ступая на них резиновым сапогом. Вдали он видел кромку леса, которая то становилась ближе, то становилась дальше. Иногда он останавливался покурить и смотрел, как нога, продавливая мокрую траву, уходит в нее, выжимая воду; как ясно блестящую, черную, свежеомытую резину сапога обступает вода. И, конечно, смотрел на небо. Тучи были все так же неприступны, но небо казалось огромным и пустынным, так же, как и равнина, над которой оно простиралось.

Дожди были слабые, хоть и шли часто. Покуксится небо, покуксится — и перестанет. Разве вечерами, ночами иногда прорывались. Это было очень кстати. Иначе пришлось бы забиться в свою келью, а потом, когда окончательно надоест, с унылостью, невысказанностью, недосказанностью в душе возвращаться в город.

Заходил он и в лес. Тот самый. Лес был сырым и мокрым, холодным, чужим. В нем уже не было его летнего внутреннего тепла, и следа не отыщешь. Но пока что он не стал окончательно непролазным, можно даже было соступить в сторону с мокроватых тропинок и идти какое-то время по лесу, а не по тропинке; идти по напитанной водой, но еще не превратившуюся в грязь земле. Деревья, травы, мхи были угрюмы. Темные однообразные краски господствовали всюду.

Иногда дождь принимался накрапывать, постукивать по листьям.

Не было комаров. Кто бы сказал, что и комаров ему будет не хватать. Хотя комары и сейчас, наверно, затаились где-то…

Но зато обострились запахи. Он бродил по лесу, запрокинув голову и прикрыв глаза, чтоб ничего не отвлекало, и было не надышаться.

И мокрые папоротники, и мокрая, гниловатая ольха, и страдающая, принимающая страдание горькая рябина. Страдающая и заставляющая страдать. Рябина была горька. Лес был горек. Горек был он сам.

Иногда все это наплывало, входило в какой-то внутренний резонанс, и на миг ему казалось, что он теряет сознание. Какая-то тягучая, бесконечная мольба истекала из него, мольбы было много, она истекала и истекала, и не могла истечь.

Тогда он закуривал и перебивал темные, волшебные запахи будничным запахом табака. Впрочем, и курилось здесь как-то не так, запах табака здесь был отчетливее, объемнее.

Все было покорно ветру, дождю, погоде, сезону. Порядку вещей. Пожалуй, только рябины продолжали сопротивляться, понимая, что их положение безнадежно. Рябины горели красным, горели их ягоды, сморщенные, как подушечки пальцев после бани, горели надрывно, угарно, пропаще… он слышал, видел мучительный их зов, их напоминание, что всегда будет боль, страдание, дисгармония, несоответствие, противоречие… никогда ничего не будет точно подогнано ни под чего… наш самопротиворечивый мир, который только и может существовать, оставаясь самопротиворечивым. Иногда ему хотелось вкусить рябиновой муки, но глаз насыщался быстро, и он отворачивался, едва не сожмурясь… Нет, лучше, здоровее старая темнота ствола ели, суровая ее хвоя. И незабываемый ее кислый вкус: если пожевать, то потом прямо пышешь елью; это он помнил, в первом классе он зажевывал от родителей курево.

…замерший муравейник… пара продрогших поганок, одна с отбитым сектором на шляпке… да, как донышко старой пешки…

А часто он просто лежал на своей деревянно твердой кровати. В свитере и шерстяных носках. Не топить же печку, — он и не знал, как это делается. Днем было вполне терпимо и так. Ночью тоже нормально — запас одеял был царский. Иногда он совершал походы за водой и, принеся ее, поставив ведро на пол, некоторое время не мог

оторвать от нее взгляда; вода оставалась стихией даже в ведре, даже в ведре она была неукрощенной; он думал об этом, глядя на ее могучее колыхание и вспоминал ту, далекую морскую пучину.

Он лежал, вылеживался, отлеживался за годы и годы. Подолгу, не моргая, уставясь в потолок.

Или был он тогда, или его не было? Где-то он был, странствовал с широко открытыми глазами. Иногда он касался, чуть-чуть прикасался и к свету, и к высоте, к пустоте. Нет, далеко не так, как тогда. Но то же чувство вознесения, отрешения, покидания, освобождения… Тот же эфирный холодок… Та же легкая тошнота-предчувствие…

Так вот неподвижно лежать, странствуя, было хорошо. Хорошо было ходить. Но иногда возвращались мысли. И тогда он уж точно — был. Мысли возвращались, прежние, беспокойные. Ничто никуда не делось. А он уж было думал, что увидел окончательный результат. Нет — промежуточный. Все результаты — промежуточные. Окончательных не бывает. И опять, опять придется рвать цепь на себе, он еще не знал какую, но уже предчувствовал, что какая-то новая цепь ожидает его.

Господи. Если ли отдых на этой земле? Или только под крышкой?

Хотя нет, все-таки есть. Можно ненадолго прикорнуть на перепутье. Как вот сейчас. Ненадолго. И цени это. Вот это, как сейчас. Оно нужно для тебя.

…и для следующей цепи. Вот это — воздух, лес, небо, деревянная кровать, вода из колодца. Без этого ты не порвешь следующую цепь.

Додумывалось старое. А может быть, появлялось и новое.

Нет, не нужна мне культура, купленная кровью. Черт с ним, с Брукнером. Пусть не будет симфоний, пусть одни только миниатюрки для флейты и фортепиано останутся. Лучше уж быть туповатыми,

трусоватыми и даже подловатыми животными, чем боговдохновенными зверьми.

Где есть Нотр-Дам, - там есть и Освенцим. По соседству, на другой улице. Трамвай ходит.

Совсем уж глупо, правда, будет, если мы будем иметь одни Освенцимы. Без Нотр-Дамов. И если уж Освенцимам суждено быть, то хотя бы постараемся пристроить к ним и Нотр-Дамы.

Предсмертная записка все не кончается и не кончается…

А величия нас ждет еще много. Можно об этом специально не беспокоиться – всегда найдутся те, кто сделает это за нас.

Человек настолько и терпим, насколько он труслив и лжив. Будь он смел и правдив – уже давно настал бы конец света. А так еще, глядишь, протянем.

О смысле жизни. Есть что-то унизительное, мелкое в поисках смысла жизни. Как будто ты оправдываешься перед кем-то. Выклянчиваешь что-то у кого-то.

В конце концов поиск смысла жизни – это не более, чем поиск точных формулировок. Что в жизни есть смысл, мы – неизвестно почему - и без того уверены, но как будто хотим перед кем-то отчитаться. И для этого отчета придумываем формулировки. Мы придумаем сто формулировок, и нам докажут, что они несостоятельны. Что ж, тогда мы придумаем сто первую. И ее опровергнут. Мы придумаем сто вторую.

А раз так, может быть, вообще не стоит начинать придумывать эти формулировки?

О вере. Обрети веру – и все проблемы решатся, их решения будут автоматическими следствиями этой веры. Только веру обрети,

— и все *само собой* будет. Вековая мечта человечества о вечном двигателе.

Но зимой все равно будет холодно, а летом жарко, а от брызг расплавленного жира с раскаленной сковородки будет очень больно, и будет еще и чума, и ангина, и золотуха, и отношения с начальством, и отношения с женой, с детьми, с родителями, и войны, глобальные и локальные, и наводнения, и землетрясения; несчастные случаи и несчастные любви. Много, много чего. Какую веру ни имей.

Жизнь все равно придется *терпеть*.

И все равно придется *думать*.

Люди и бросаются к пророкам в надежде обрести жизнь, где можно не терпеть и не думать.

Гитлер, возможно, интеллектуально развратил нас. Он был настолько абсолютным злом, что создал иллюзию, будто мир устроен просто.

Кем бы я хотел стать?

Демоном добра.

Князем света.

Со страданием что-то странное все-таки. Я страдаю, и я же еще и сволочь. Причем не за что-нибудь, а именно за свое страдание. Как он говорил? «Гордость страданием не есть достоинство». Положим. Но он же признал, что иногда страдание — достоинство. Но мы не можем не гордиться достоинством, пусть и иногда. В общем, со страданием не все так просто и не все так ясно.

Всю жизнь я искал ДЕЛО, за которым я мог бы спрятаться от космоса жизни. Я искал СВОЕ ДЕЛО. И вроде нашел. Крепостной вал дела. Но за этим валом так и осталось затравленное, мечущееся, отчаявшееся «я».

Даже больше, чем крепостной вал. Я хотел с т а т ь своим делом, чтобы мое дело и было — я. Но ничего не получилось. Мое дело так и осталось чьим-то чужим, каким-то универсальным делом, а я так и остался - я. Если и есть крепостной вал — так это между делом и мной.

И ничего поделать тут нельзя, и так все и останется до самого конца.

Что ж, пусть.

Спал он много и без задних ног. Ложился и сразу же проваливался в сон. Снов почти не было — наверно, не было в них нужды.

Но иногда ему снился лес.

Ему снился лес, его безвылазность и непроходимость, дремучесть, гул, гуд его стволов, шум его листвы, высота, тишина его неба и облаков, его беспредельность и неразгаданность, неисчерпаемость и однообразие, теснота и простор, его величавое дружелюбие и гордая неприступность, его всеохватность, его уютная бесконечность и бесконечный уют; гибельность его и надежда.

И он знал, что, где бы он ни был, он всегда, пройдя сквозь стену своей комнаты, вновь окажется в лесу; вновь и вновь, опять и опять.

Все начиналось в лесу. Все в нем и кончится.

А иногда он вспоминал о брате. Было больно, но уже терпимо. Тогда он закрывал глаза и клал на них ладонь… И лежал так. Или прислонялся к чему-нибудь.

Он, бывало, стоял у той самой воронки, оставшейся от финской войны. Воронка с тех пор сильно заросла землей, стала мельче, невыраженнее. Уже так сразу и не скажешь, что это воронка. Может, правда, так только казалось — он же был мал тогда, а сейчас взросл. Кое-где в воронке проросла невысоконькая, реденькая

травка, этакая бедная родственница, претендующая лишь на самое малое.

А лес по-прежнему нашпигован обезображенными ржавыми наростами пулями и замшелыми гильзами. И другой дрянью, которая по-прежнему может взорваться.

Он вспомнил, сколько ему лет. Вспомнил среднестатистическую продолжительность жизни. Вычел. Сколько-то лет у него еще оставалось…

Изнеженность и утонченность людей позднего девятнадцатого века… Да нет, таких было мало. Просто – их давняя небитость не помешала стартовой катастрофе века двадцатого – 1914 году. Изнеженный это кто? Тот, кто давно не получал пинков. «Толчков о материю». И все больше и больше он «сходит с ума от собственных теорий», все больше галлюцинации заменяют ему действительность. И, когда его галлюцинации наконец сбываются, то по чудовищности, жестокости они далеко превосходят нормальную, прагматическую жестокость людей мира сего. А галлюцинации всегда сбываются, они не могут длиться бесконечно. Сей мир обязательно возьмет свое. Сей мир, в котором нет ничего невозможного.

Вывод: обществу необходим некий минимум жестокости. Для того, чтобы однажды, - раз, зато навсегда – не получить ломом по затылку, время от времени необходимо получать подзатыльники. Прививка. (Или «жертвоприношение», что то же самое). Каждый, каждый должен знать, где воображение, а где реальность.

Сей мир существует. По той боли, который он причиняет, мы знаем о его существовании.

Что нам нужно? МИРА СЕГО. Его нет. И куда он делся…

Или только я один такой дурак, что не вижу его?

Во всяком случае, я отправляюсь в поход, на поиски мира сего, которого, сдается мне, я так и не видел.

А что делать дальше? Конкретно делать? Скажем, что делать с конторой?

Он не знал.

Иль, отряхнув видения земли…

Но как же моя пустота, которую я заработал с таким трудом?.. Я погибал, но я не погиб, и я заслужил ее.

Жить ради пустоты, иногда только прикасаясь к ней… да… и свет, и эфир, и прохлада… а потом только пустота… только она… оставить, покинуть… навсегда… в лучах отхожу к тебе…

Но ведь цепь. Новая цепь. Я ведь знаю, что она будет, хоть и не знаю какая.

А зачем цепь? Для себя? Для людей?

Чего-чего?? Для кого, ты сказал?? Для л ю д е й ? Для э т и х ?

«Приди к униженным, приди к обиженным, там нужен ты»…

Не нужен я там.

Телевизор с проповедником там нужен, да окошко с баландой.

Водка с перловкой их удел.

Что бы э т и ни придумали, мне не будет среди них места. Ни мне, ни мне подобным. Есть только два варианта, на выбор: или тебе будет среди н и х страшно, или нет.

…А потом пошли косяком дожди.

Проснувшись только, посмотришь за окно, - а там уже зарядило. С утра, с вечера, с ночи. То просто идет, а то хлещет. Лишь изредка моросит.

И он сидел дома.

Сидел у окна или лежал на кровати в своей холодной, хоть и прокуренной комнате. Уже и проветривать холодно, и табачный дым медленно ходит, плавает вкруг абажура.

Все больше надо одеял, и ночью, и днем. Скоро вместе с дымом он будет выдыхать и пар.

Выходил на улицу он теперь редко. Только в нечастые просветы или когда моросило, и недалеко от дома - неохота было холодно мокнуть. У него и зонтика не было.

Он подошел к окну и, приблизив лицо к нему так, что едва не ощутил холод, исходивший от почти пропитанного дождем стекла, стал, задрав голову, заведя вверх глаза, разглядывать небо. Тучи, до этого только присутствовавшие, - хотя их присутствие ощущалось всюду, - теперь пришли в какое-то внутреннее движение, из них теперь лило, как из ведра, и долго их будет не остановить.

День начинал кончаться. Становилось темно.

Что ж… Пожалуй, что и хватит на этот раз…

И он повесил замок на дверь, запер его, и пошел к станции. Резиновые сапоги остались аккуратно стоять у двери.

Он вошел в свою квартиру, сразу же напустив в нее электрического параднячного света, распугав домовых и чертей, если они успели тут поселиться. Стал на пороге; лязгая и брякая ключевой связкой, извлек ключ, захлопнул дверь.

Дверной удар подвел черту.

Он стоял и чувствовал запах своей квартиры, одновременно и родной, и странный, слегка подзабытый. Квартира настаивалась запахом и покоем, пока он отсутствовал.

Весь уже домашний, побрел, лениво таща ноги, на кухню.

Было тепло. Начали топить. Он с удовольствием стащил с себя свитер. Поставил гудеть электрочайник.

И сел, положив руки на стол, свесив, по обыкновению, голову.

Посидев так-то минут пару, случайно повернул голову, и увидел посудную свалку в раковине, да и рядом пару немытых, засохших тарелок. Не дождавшись чайника, подошел к раковине, засучив рукава.

Он мыл, и лязгал, и гремел, и брызгал. Выдавливал жидкого зеленого мыла себе в горсть. И мыл дальше. Вода хлестала, трубя и брызжа, из крана.

Расставил вымытое примерно туда, где ему положено. Рассовал тарелки, ложки, кастрюли по разным местам. Приблизительно понял, где что у него лежит или стоит. Сделать это маленькое открытие было приятно.

Электрочайник за это время успел отключиться, он снова включил его, и ждать пришлось совсем недолго. Налил кипяток, бросил туда пакет. И вдруг захотелось ему маминого варенья. Почему-то вспомнилось мамино варенье, хотя столько лет он клал и в чай, и в кофе сахар, просто сахар, сладкий и больше никакой. Варенья не было. Но почему-то он обрадовался. Улыбнулся и стал размешивать.

Ну и, конечно, ванна. Заждались они друг друга.

Он сел в ванну, когда она наполнилась совсем немного — уж очень не хотелось ее ждать. Вплюснулся в ее дно, стремясь, чтобы ему досталось как можно больше воды.

Ванна наполнялась.

Он долго тер себя мочалкой по всем направлениям. И, по своему обыкновению, намыленный, вспененный, мычал себе под нос обрывки песен, которые знал. Много их было. И про индейца Айру Хейса. И про Большую Реку. Ну и, конечно, две строчки из той песни, которую пел когда-то дядя Валя:

И в дорогу далэку
Ты мене на зори провожала…